**Николаева Олеся.**

[**Мене, текел, фарес**](http://azbyka.ru/fiction/mene-tekel-fares/)

Главные герои романа в основном монахи. Это иконописец игумен Ерм, который то и дело чем-то увлекается; иеромонах Филипп, защищающий монастырское подворье от общины сектантов; французский священник Габриэль, перешедший в Православие и посланный служить на приход в глухую русскую деревню и многие, многие другие. Жизнь монаха показана автором не лубочной, а такой, какая она есть.

*Роман*

* [Дюдя](http://azbyka.ru/fiction/mene-tekel-fares/#n1)
* [Женское священство](http://azbyka.ru/fiction/mene-tekel-fares/#n2)
* [Скажите этой лисице, Ироду](http://azbyka.ru/fiction/mene-tekel-fares/#n3)
* [Ортодоксикоз](http://azbyka.ru/fiction/mene-tekel-fares/#n4)
* [Не те китайцы](http://azbyka.ru/fiction/mene-tekel-fares/#n5)

**Дюдя**

Было время, когда игумен Ерм казался нам ангелом, спустившимся на землю. Во плоти ангел. Некий херувим, что несколько занес нам песен райских… Когда он еще жил в Лавре, на заре своего монашества, к нему в келью старцы посылали молодых постриженников как бы «на экскурсию»: идеальная келья монаха. Простота. Чистота. Нестяжательность. Единственным ее излишеством была серебристая змеиная кожа, которую подарил отцу Ерму мой друг — писатель и путешественник Геннадий Снегирев.  
— Отец Ерм, а зачем вам в келье эта змеиная шкура? — спрашивали молодые постриженники. — Ведь это же — принадлежность Искусителя?  
— Она напоминает мне о грехопадении первых людей, — скромно отвечал отец Ерм. — А кроме того — Сам Христос говорил: будьте мудры, как змеи!  
Вообще существует такое монашеское наблюдение: невозможно прийти к Господу, если воочию не увидишь в каком-нибудь человеке отблеск вечной жизни, лик Христов. Так и красота монашества открывается лишь через Человека: вот он — перед тобой — во всей своей немощи, во всей своей простоте, покрытой черным штапелем ли, сукном, а через него сияет слава Божия, Царство Небесное, неземной мир. Многие именно так избирали для себя монашество. И таким человеком был для нас наш игумен, наш, между прочим, тогда еще совсем молодой «старец», наш духовный отец.  
Он тогда очень увлекался старообрядчеством — это понятно, ведь у них такие иконы: никониане никогда не смогли подняться до их умозрения, — все выходило плоскенько, аляповатенько. А отец Ерм — эстет, аскет, иконописец. Даже по Лавре расхаживал тогда со старообрядческой лестовкой вместо ортодоксальных четок. Возглашал по–старинному «во веки веком». Поклоны клал, как положено по старому молитвослову. Даже и мне такой подарил. И я тоже после каждой «Славы» по три земных поклончика отмахивала. С непривычки так натрудила коленку, что она вспухла, и я не ходила, а ковыляла. В конце концов, обратилась даже в травмопункт…  
У меня спросили:  
— А что вы делали на этой ноге? Может, тяжести какие подпирали, может, ударяли ее или, может, насекомое какое вас укусило?  
Но я честно сказала:  
— Нет, ни тяжестей не таскала, не ударяла, и насекомые не кусали, а просто — отбивала поклончики.  
Тогда на меня посмотрели сочувственно, подозрительно и тревожно. Медработники все-таки. Поклончики она отбивала! Это при Бреженеве-то! 82–ой год на дворе… Ну ладно.  
Все тогда привлекало отца Ерма в старообрядчестве — весь богослужебный чин, знаменное церковное пение по крюкам, эстетизированный церковный быт, и он глубоко и восторженно переживал это как художник, как иконописец. Даже старообрядческий клобук надевал у себя в келье: не этот, похожий на котелок без полей, обтянутый черным, ниспадающим вниз муаром — протопоп Аввакум говорил о таковых с презрением «клабуки–те рогатые ставцами–теми носят», — а тот, старинный, напоминающий длинноухую шапку, — кстати, он очень был ему к лицу. Мне даже удалось его так сфотографировать: вот он стоит, «прислонясь к дверному косяку», артистичные пальцы у подбородка, и смотрит так чудно, так вдохновенно. Портрет этот до сих пор висит у меня над столом в кабинете. Лицо отца Ерма на нем столь прекрасно, что все, кто приходят ко мне, спрашивают изумленно: «А это кто?» И замирают, любуясь… Но я им не отвечаю. Потому что — начнутся дальнейшие расспросы — а что он? А где? А как? Ну и необязательно всем так уж об этом знать…  
В ту пору игумен Ерм ввел старообрядчество даже в своем монашеском быту — варил сбитень, питался проросшей пшеничкой и национальной репой, отвергая заморскую екатерининскую (никонианскую) картошку, ходил по келье в лаптях, которые сам и плел, не признавал электричества, но читал и работал при свечах, а краски для икон готовил из натуральных веществ — растирал полудрагоценные камни, добавлял желток — какие-то были у него старинные рецепты.  
И вообще вокруг него царила такая восторженно–эсхатологическая атмосфера — готовился великий исход из этого греховного мира, из этой «не устоявшей перед тремя искушениями сатаны Церкви». Да, как бы именно так. И в то же время не вполне — ибо отец Ерм вовсе и не собирался порывать с Церковью и переходить в старообрядчество, он просто считал, что монашество в миру обмирщвляется и надо дистанцироваться, укрывшись отеческими заветами. Уйти из мира, забрав Кормчую Книгу, по ней и жить. А для нас, неофитов, его окружавших, что могло быть более праздничным и желанным, чем это новое житие, исполненное подвигов и чудес?..  
Отец Ерм однажды прямо так и сказал своему любимому ученику — молоденькому монаху Дионисию–иконописцу:  
— Я решил стать преподобным!  
И Дионисий, конечно, не смог это удержать в себе, выдал мне под большим секретом, огромные, широко расставленные глаза его были широко распахнуты, из груди вырывалось:  
— Нет, ты представляешь… Это же настоящий старец! Вот я, например, хочу себе купить черные джинсы под подрясник, ты, предположим, хочешь выпить чашку кофе, а он — стать святым!  
…Землей обетованной была избрана Мезень. Спасение возможно только там. Пять месяцев в году судоходство, потом все покрывается суровыми льдами — ни рыба не доплывет, ни птица не долетит. Мы с Дионисием ездили на место грядущего переселения на разведку, летом. Пока плыли на утлой лодчонке, на Дионисия напала огромная чайка и стала клевать его скуфью…  
— Ишь, не хочет пускать! —отмахивался от нее он.  
Лодку качнуло, в воду упал пакет с бутербродами и бутылкой воды. Но на берегу было много ягод, прозрачный ручей, и Дионисий сказал, погрозив невидимому супостату:  
— Да подавись ты этими бутербродами, старый козел, а нам и так хорошо!  
Наконец, мы нашли бедное селенье с заколоченными домами, вокруг — никого: ближайший магазин, где дают хлеб, карамельки и водку, которую местные называют «серенькой», в пяти километрах. Отметили все крестиками на карте и отправились обратно к отцу Ерму с докладом.  
Ну Дионисий — понятно: монах, иконописец, а я? Я-то на что рассчитывала с этой Мезенью: у меня муж, маленькие деточки. Ах, думала, отец Ерм помолится, все как-нибудь образуется: будем жить там при иконописном ските, еще и друзей своих туда позовем. Мой друг детский писатель и путешественник Снегирев тоже уже туда собирался, там, говорил, знаешь какие белые ночи? Какая мистика света? Какая близость небес?  
Пришли мы с Дионисием к нашему игумену, разложили перед ним карту, все пришлось ему по душе. Отец Ерм приговаривал:  
— Здесь Господь испытывает человека властью, славой, богатством… Тот, кто их жаждет, на самом деле просит послать себе жесточайшие искушения. А там, вдалеке от мира, только и можно обрести истинную царственную свободу!  
Мезень уже вовсю дышала нам в лицо своим вожделенным холодом, целовала ледяными губами в горячий лоб, бередила чувства своей богоизбранной заброшенностью, роскошью своей нищеты.  
И все-таки отец Ерм решил разок–другой сходить в старообрядческий храм, помолиться там, приглядеться. Отпросился у наместника на день из Лавры, ни свет ни заря приехал на Рогожское кладбище — к началу литургии, а ему на пороге храма суровые бородатые мужики:  
— Куды! У нас щепоточники в притворе молятся, в храм велено их не пущать!  
И у нашего игумена после этого как-то все стало стремительно меняться, словно путешествовал он на Рогожское не один день, а семь долгих лет.  
Наконец он сказал:  
— Все! Старообрядчество выдохлось. Мертвечина. Музей. Дух Святой от них отошел. Я был у них на богослужении. Иерархия у них безблагодатная. Белокриницкая иерархия — сплошной подлог. Таинства — недействительные. Откуда я знаю, глядя на их духовенство, что это не ряженые мужики? Надели на себя епитрахиль, поручи, а кто их рукополагал, спрашивается, а?  
И снял с себя старообрядческий клобук, и лапти выкинул, и включил электричество, и больше никогда не пил сбитень и не ел репу. Он поменял обитель и затворился в провинции, в Свято–Троицком монастыре, взяв с собой Дионисия. Там началась какая-то совсем другая, новая жизнь. Потому что он вдруг пришел в волнение от византийского иконного письма и стал глубоко изучать историю Византии, писания Святых Отцов. И сразу надел на себя «мелкую» греческую скуфью, облачился в греческую рясу с безмерно широкими рукавами, ел смоквы с изюмом, служил по ночам в монастырских пещерах литургию по–гречески, а своих послушников поставил осваивать византийские литургические распевы. И все мы, приближенные, стали подвизаться в древнегреческом, читали Евангелие в оригинале, спрягали труднопроизносимые греческие глаголы, склоняли на свою сторону существительные и постигали весь этот могучий умозрительный синтаксис обновленной жизни.  
Засыпала я с учебником Соболевского под подушкой…  
Доктрина нашего игумена была такова: коль скоро мы отступили от своих основ, надо вернуться к истокам — назад, к Святым Отцам, к Византии, начать заново и пройти свой исторический путь, учитывая при этом опыт искушений и соблазнов.  
Жил иконописец Ерм в монастыре на горке, которая как нельзя кстати называлась «Афонской», — там для него построили мастерскую, там была у него и келья — прямо в колокольне. И проходить к нему можно было через послушника, который стоял у подножья горки на будке и требовал специального разрешения, подписанного отцом Ермом. Это была аккуратная плотная белая бумажка, размером с визитку, и на ней было выведено образцовым «иконописным» почерком: «Прошу пропустить. Игумен Ерм». И это было начертано с такой великолепной свободой и с такой властью, что мне казалось — когда я умру, то и самим огненным херувимам, сторожащим рай, и даже апостолу Петру я смогу дерзновенно предъявить это «Прошу пропустить. Игумен Ерм», и они пропустят…  
И вот я ее потеряла, эту свою охранную грамоту, и пришла в страшное волнение, ибо мне почудилось, что я теперь никогда не смогу попасть на Афонскою горку, и это — все! Такое отчаянье — я ходила вокруг монастырской стены, взбираясь вокруг на холмы, и видела и колокольню, и мастерскую, и ели, и столетний дуб, и даже послушников, но все они были в каком-то отрезанном от меня пространстве, в другом измеренье — как в него попадешь? В принципе так и было — что общего у монахов с мирскими? У монастыря — с миром?  
Тогда я совершила подлог. Вырезала из писчего листа маленькую бумажку и, потренировавшись немного, старательно начеркала: «Прошу пропустить…». Конечно, при ближайшем рассмотрении можно было бы обнаружить фальшивку — и это заглавное «Пэ» с начальным и верхним завитком смотрелось у меня вульгарно и даже блудно, и «эр», опускавшее витиеватую ножку, делало это весьма развязно, и петелька «у» выглядела очень уж завирально, что уж говорить о подписи. Но от беглого взгляда «будочника» это ускользнуло — он ухватил лишь общий строй и размер букв и кротко поклонился: «Проходите». С тех пор я больше не утруждала себя хранением пропуска, а подмахивала его заново. И когда однажды отец Ерм спросил: «А пропуск-то у вас есть? Еще не истлел?», я со смехом призналась в подделке. Он нахмурился, взял у меня бумажку и долго ее разглядывал, потом хмыкнул и выдал новую, подписанную собственноручно.  
Однако это навело его на мысль, и с этих пор он стал поручать мне отвечать за него на письма, которые приходили в огромном количестве.  
— Напишите там: простите, но нехватка времени не позволяет мне подробно ответить на ваше письмо. И потом что-нибудь вкратце. А почерк у нас похож.  
Так я и отвечала, а он потом бегло прочитывал, кивая…  
Как-то раз я засиделась в Москве, и мне очень нужен был его совет. Кто-то ехал в Троицк и обещал передать отцу Ерму мое письмо. Вот я его и написала. А потом, подумав, что мне самой же и придется отвечать на него, тут же настрочила себе почерком отца Ерма целое послание. «Дорогое, возлюбленное о Христе чадо! К сожалению, нехватка времени не позволяет мне подробно ответить на Ваше письмо. Однако…» И тут я давала себе самой кучу всяких добрых советов, основанных на изречениях Отцов Церкви. Так ему это и послала. Все советы он потом одобрил. И проговорился: его интерес к Византии — не просто так. Логически это должно кончиться его уходом на Афон. Тогда-то мне очень пригодятся эти святоотеческие изречения, ибо на Афоне у него будет еще меньше времени, чем сейчас, и вряд ли он найдет там подходящего писца.  
И теперь его грекофильство, чреватое разлукой, стало звучать почти зловеще. Ну что — уехал человек на Афон — это ведь почти то же самое, что он для тебя умер… Я потихоньку и молилась, чтобы Господь его остановил, удержал здесь, в России. Еще бы…  
Однажды мы с Дионисием вместе приехали из Москвы в Троицк. В Москве лил холодный ливень, а в северном суровом Троицке нам засияло солнце. И Дионисий сказал многозначительно:  
— Это отец Ерм молится за нас!  
Да и вообще, вообще — жизнь наша была похожа на повествования из древнего патерика. Вот отец Ерм как-то раз сказал мне:  
— Пойдите в лес и найдите там для меня белый гриб.  
А я грибы искать не умею! Никогда их не вижу — войду в лес и сразу начинаю плутать в собственных мыслях, и за всю свою жизнь я нашла один–единственный подосиновик, и то потому что он вырос величиной с пенек и я об него просто споткнулась. А тут — пожалуйста, пошла в лес и сразу передо мной чуть ли не на тропинке стоит себе белый гриб. Я сорвала его и скромно преподнесла авве. И правда — если случалось что хорошее, мы верили — это наш духовный отец потрудился, уговорил Господа. А если происходило нечто дурное, мы знали — это лукавый старается разлучить нас с нашим духовником. Ибо он ненавидит в людях любовь, преданность, верность, старается их рассорить, внести смятение, недоверие, разжечь вражду.  
Меж тем отец Ерм упивался своим грекофильством. Все предметы монашеского быта были стилизованы «под греков», а по «Афонской» горке бегали маленькие экзотические курочки с петушками, пестренькие, яркие, с хохолками, правда не греческие, а какие-то индийские, что ли, но все же — нездешние, заморские. Словно это уже и есть какая-то южная далекая сторона, богоизбранное истинное отечество души. Конечно, дивные иконы отца Ерма теперь несли на себе черты византийской школы.  
Но приближалась лютая русская зима и ее тоже нужно было осваивать не только практически, но и стилистически. Монахи его ходили в широкорукавных греческих рясах, на которые никогда в жизни не налезло бы зимнее пальто. И вот он решил купить им, а заодно и послушникам — черные бурки. А что? Они теплые, ряса под них прекрасненько влезет, движения они не стесняют и великолепно смотрятся. Он дал мне задание отправиться в Грузию и добыть для него эти прекрасные бурки. И я конечно все исполнила и притащила их в монастырь. Единственно, что из шести потребных черных бурок в магазине оказалось только пять. А последнюю, шестую, пришлось купить белую, она гляделась нарядно и напоминала с некоторой натяжкой зимнее ангельское оперение.  
Вечером того дня на Афонской горке можно было наблюдать весьма экзотическое зрелище — падал крупный снег, а в него выходили из мастерской, словно какие славные джигиты, смиренные иконописцы Свято–Троицкого монастыря. И среди них, как светлейший прекрасный князь, в белой бурке красовался сам великолепный иконописец. И это было так чудно, так красиво, так хорошо, но и так удивительно, так забавно, что мы не удержались и стали невольно смеяться.  
После этого не только бурки были спрятаны далеко в монастырский сундук, кроме одной, которая осталась служить отцу Ерму чем-то вроде одеяла, но и симпатии к Греции как-то стали оскудевать, пока не наступило полное охлаждение. Можно сказать, что они, эти симпатии, умерли вместе с курочками, которые не вынесли русской зимы. Ветер переменился. И Афон наконец-то скрылся в густом тумане.  
К тому же как раз в это время из монастыря ушел послушник, который, хоть иконы и не писал, но регентовал у отца Ерма на византийских пещерных литургиях. Распевы там сложные, прихотливые, непостижимые для профанного слуха, — все пели вслепую, следуя, как за поводырем, за его рукой, то плавно покачивающейся, то стремительно взлетающей ввысь, то падающей в изнеможении. И с его исчезновением наш и без того скромный хор обречен был превратиться в сброд столь дурно голосящих людей, что воистину «хоть святых выноси», и отец Ерм заставил нас после «Блаженны…» все песнопения читать речитативом.  
А послал он его, этого послушника, в Москву к какому-то мастеру, владевшему, по надежным сведениям, старинными секретами энкаустики — именно этот метод применялся при написании знаменитых фаюмских портретов. Тот уехал, а когда вернулся, объявил нашему игумену прямо с порога, что покидает обитель навеки, поскольку встретил на своем пути прекрасную девушку («Какую-то бабу!» — как презрительно пересказывал это отец Ерм) и теперь собирается на ней жениться.  
— Это ж надо додуматься! — восклицал наш игумен. — Монашество на какую-то бабу променять! Смешно просто!  
И он действительно начинал смеяться. Вслед за ним начинали посмеиваться и послушники, постепенно заражаясь друг от друга, усмехалась и я, пока все это не перерастало в гомерический хохот, совершенно уж недопустимый в стенах монастыря и извинительный лишь самой вызвавшей его вопиющей нелепостью, таким специфическим для этих стен поводом:  
— Ну надо же! Да на что променял-то! На какую-то бабу! Ну просто смех!  
И как только распался наш византийский хор, рассеялись и греки.  
Оказалось, служат они небрежно. Прямо на жертвенник могут платок носовой положить. Во время литургии болтают. Духовенство у них курит. Все чаще от отца Ерма слышалось что-то вроде «так цивилизованные люди не поступают», «так не принято в цивилизованном мире». Увлекся он на этот раз, как бы это выразиться, «европеизмом», «мировой культурой» и даже «общечеловеческими ценностями».  
Кто-то из монастырских насельников показал ему место в пророчествах Нострадамуса, где говорится, что вскоре будет новая мировая война, что Европу (и мир) спасет «принц из Франции», а кроме того, что на северо–западе России откроется некий духовно–культурный очаг. И получалось, что этот самый очаг совпадал по своему местонахождению со Свято–Троицким монастырем. И вот отец Ерм сказал:  
— Будем теперь изучать не только Святых Отцов. Будем изучать и европейские языки, и мировую историю, и культуру, и поэзию.  
Стал раздавать книги. А у него со времен Лавры появились новые послушники и ученики. Теперь всегда в его мастерской при нем находилось несколько молодых людей, мечтавших стать иконописцами и исполнявших всякие хозяйственные нужды. Самыми преданными были Валера и Славик, как они братолюбиво называли друг друга, два послушника–простеца. Отец же Ерм звал их почтительно: Валерий, Вячеслав. Валера — длинный, нескладный, с плаксивым лицом, Славик же, напротив, — маленький, полненький, розовощекий. Были еще ученики–иеромонахи. Им в этом распределении книг достались Кафка и Оруэлл, а Валере и Славику — поэзия. Валере — Древнего Китая. А Славику — Лорка.  
А Дионисию отец Ерм дал читать Нарекаци — армянского монаха–псалмопевца 10 века. Эту книгу подарил ему мой друг Леня Миль с дарственной надписью, поскольку он и переводил эти псалмы. В предисловии Леня написал, что Нарекаци был неблагонадежен среди армян ввиду своей еретичности. Но еретичность его клонилась именно в сторону Православия. То есть он признавал две природы Иисуса Христа — божественную и человеческую, в отличие от григорианского монофизитства. Я знаю монахов, которые даже молились по этой книге, такие это духовные и подлинные покаянные песнопенья. И Леня, когда их переводил, очень хотел принять Православие, так как был в детстве крещен в католичество спасшей его из гетто литовкой. Но вдруг объявилась какая-то его близкая родственница–старушка в Израиле, которая подманила его наследством, и он уехал в Иерусалим, потерял гражданство, а потом и повесился… А книга его осталась у отца Ерма.  
Первый псалом начинался так: «Я — древо, коренящееся в аду!»  
Дионисию это очень понравилось.  
— Как это точно! — восхищался он. — Вроде и крона роскошная, и плоды при нем. И все–все! А корень отравлен грехом.  
Как-то за трапезой Ерм и спросил у своих послушников про Кафку, Оруэлла и про Древний Китай с Лоркой. Иеромонахи очень даже толково пересказали суть. А Валера весь напрягся. Даже казус некий вышел.  
— Пробрало, — прошептал он. — Поэзия Древнего Китая глубока и прозрачна. Особенно один куплет мне понравился. Духовный.  
И вздохнул с облегченьем.  
— Лорка тоже, — выпалил Славик. — И духовна, и глубока.  
Больше отец Ерм ничего у них не спрашивал, а сам их просвещал. Но Дионисий, который, между прочим, был из московской академической семьи, не удержался и подсунул-таки записку под дверь кельи Славика и Валеры: «Лорка — не баба, а мужик!» И отец Ерм очень этой запиской был возмущен. Он вообще это воспринял так, словно записка сия укоряла в чем-то его самого. Ну что это такое, в самом деле, «Лорка — не баба»! А если ты из академической среды, так чего же ты тогда из нее в монастырь бежал, а, Дионисий, коль и в монастыре через нее самоутверждаешься?  
А кроме того, я лично прекрасно помню его рассказ о том, как его бабушка — урожденная грузинская княжна, вдова академика, пятидесяти шести лет от роду, решила вновь выйти замуж. И нашла себе подходящую кандидатуру — художника, сказочника, в белом костюме–тройка: «У него такой породистый подбородок, высокий аристократический лоб». И он приехал на смотрины к ней на дачу, подарил ей белые розы и свою картину с подписью, и она разглядела, что там было написано: «Хавронич».  
— Это что такое? — строго спросила бабушка–невеста. — Что за неуместная шутка!  
— Это… моя фамилия, — развел руками жених–художник–сказочник в белом костюме–тройка, все при нем — подбородок, лоб… И бабушка его прогнала. За что? За то, что он — «дюдя».  
— Как-как? — переспросила я Дионисия.  
— Дюдя, — повторил он. — То есть не Волконский, не Голицин, не Юсупов, даже не какой-нибудь там Ртищев. Хавронич! Посмел к моей бабушке, грузинской княжне, присвататься! Сравняться с нею хотел! Дюдя и есть.  
Ну вот Дионисий тогда тоже засвидетельствовал Валере со Славиком, кто они есть на самом деле, дюди такие.  
Меж тем наш отец Ерм становился в некотором роде даже и знаменитостью. Конечно не такой, как иконописец архимандрит Зинон, между прочим, лауреат Госпремии: но тот трудился у всех на виду — в Даниловском монастыре, в самой Москве, да еще когда там праздновали тысячелетие Крещения Руси, к нему даже сам американский президент Рейган туда приезжал. А наш смиренный игумен незаметно сидел себе в медвежьем углу, в северной провинции, в нищем монастыре и незримо подвизался день и ночь. Труженик. Раб Божий. Мастер. Вот и прославил его Господь. Молва о нем пошла. В журнале заграничном напечатали о нем статью, всю в глянцевых фотографиях: вот он за работой с кистью в руке, вот он за клавикордами, вот он в саду среди монастырских роз, а вот — во время богослужения.  
Иностранцы к нему поперли — и праздношатающиеся туристы, и деловые солидные люди — он их всех, кстати, очень уважительно принимал. Очаровывал. Поил чаем в своей мастерской. Иногда меня даже ревность сжигала к каким-нибудь там немцам–туристам, пахнущим баварскими колбасками и пивом. Порой он сидит с ними, разговаривая по три часа, они уже на ужин к себе торопятся, норовят подняться, уйти, а он еще их удерживает да еще и иконами своими драгоценными одаривает, мне же говорит: «Вы видите, я так занят, у меня совсем нет времени!»  
И вот в один прекрасный день появилась она, эта Нэнси. Право, не знаю, может, искуситель ее подсунул, а Господь попустил ее появление не без тайного вразумления моему духовнику? Итак, Нэнси. Штат Оклахома. Бизнес–woman. Менеджер группы гавайских гитаристов. Привезла их на гастроли в Россию, а сама — к отцу Ерму в монастырь. Прямо в келью вошла — безо всякого пропуска. Крепкая такая, рослая, цветущая, улыбается во весь рот, зубы по–американски отменные, ноги самоуверенные, вся навитаминизированная, ухоженная, зрелая, энергичная. Только платье на ней не по–американски романтическое, шикарное. Платье из тончайшей серой змеиной кожи. А поверх платья — черная бархатная накидка до пола, капюшон, широкие рукава… Да, минуя послушника у подножья Афонской горки, проникла к отцу Ерму и быстро–быстро заговорила еще с порога. Но он по–английски совсем почти не понимал. А она по–русски едва–едва: только здравствуйте, спасибо и до свиданья. Хотя и специально полгода занималась русским с эмигранткой из Киева, чтобы иметь контакт (to have a contact) с отцом Ермом. Вот он меня и позвал: «Послужите нам переводчицей!» Она критически окинула меня взглядом и скороговоркой объяснила, что видела его в американском журнале и хотела с ним познакомиться, для чего и проделала этот путь через океан да в русскую глухомань. Вынула подарки. Это был набор самых невероятных вещей:  
крутящаяся в руках терка для сыра,  
кофейник,  
электронный будильник,  
электрический фонарик,  
лупа и калькулятор,  
блокнот–ежедневник с ручкой,  
ароматизированные салфетки,  
четыре рулона туалетной бумаги в цветочек,  
подсвечник с красной стеариновой свечкой,  
дезодорант с крутящимся шариком,  
зубная паста Аквафреш,  
белые спортивные носки,  
черная шапочка с олимпийской символикой,  
темно–зеленый купальный халат,  
четыре баночки витаминов  
и финский сервелат в придачу…  
— Все это — вам, — сказала она, раскладывая подарки на столе и присовокупляя к ним еще и красную спортивную сумку, из которой она все это извлекла.  
Он спросил, крещена ли она. Она сказала, что не очень религиозна, но что у нее Бог в сердце (God in the heart) и что она хочет иметь с ним сугубый разговор «confidential talk».  
Он решил, что это, должно быть, что-то насчет ее крещенья. И даже сказал, что дал бы ей христианское имя — Нонна.  
— Нонна, — объяснил он, — была благочестивой матерью святителя Григория Богослова.  
Ей это очень понравилось, и она приняла это за знак свыше, потому что вдруг воздела руки к небу и потом провела ими по лицу, словно умываясь небесными токами. Может быть, это соответствовало ее тайным замыслам.  
Меж тем прямо над окнами кельи стали бить колокола, возвещая час дневной трапезы, и отец Ерм, вопреки своему обыкновению (ибо он не любил чего-то просить у монастырского начальства), пригласил нас обеих на монашеский обед.  
— Американка, — пояснил он наместнику. — Желает в нашем монастыре принять святое крещение.  
Наместник благосклонно кивнул и даже процитировал из Священного Писания: «Приходящего ко мне не иждену вон». И Нэнси, поняв, что речь шла о ней, сделала ему нечто вроде грациозного реверанса.  
— А ты ему кто? — спросила она меня, как только были прочитаны молитвы и мы уселись за стол.  
Я хотела ответить скромно: никто. Но вдруг вспомнила, что мой друг писатель Снегирев часто повторял: кем назовешь себя, тем и пребудешь, запомни это. И потому сказала:  
— Сестра. Разве не заметно, как мы похожи?»  
Она согласилась. Потом спросила:  
— Что ты здесь делаешь? Ты тоже монашка?  
Я ответила:  
— Нет, я не монашка, я здесь молюсь, веду переписку, а живу в Москве. — И, на всякий случай, прибавила: — Скоро мой муж сюда приедет. Я жду его.  
Нэнси это пришлось по душе. Она заулыбалась, закивала:  
— Good.  
Даже дала мне свою визитку. В ответ я написала ей на салфетке мой московский телефон.  
Но трапезой щедрость отца Ерма не исчерпалась. Он повел Нэнси в храм, показывая свой новый иконостас, и наконец, в мастерскую. Там уже вовсю трудились и Валера со Славиком, которые что-то прилаживали, и Дионисий, который высунув от старательности кончик языка, расписывал на иконе ризы, и даже украинец–садовник с воодушевлением топил огромную русскую печь, приговаривая:  
— Зараз зде чи Егыпет буде, чи Афрыка.  
Он собирался травить крыс, которые в великих множествах завелись в монастырских закромах, и готовил им на печи «кушанье смачне», отчего в мастерской, где всегда курился запах доброго ладана, теперь головокружительно пахло, как в больнице, кипячеными тряпками, прокисшими щами, валерьянкой, карболкой, хлоркой и грязным бельем.  
Отец Ерм добросовестно рассказал Нэнси о всех этапах работы над иконами, покритиковал современных иконописцев, пишущих по прорисям, и провел ее вдоль длинного ряда стоявших на полке небольших икон, старательно объясняя сюжет каждой: Рождество, Преображение, Успение…  
Она так эмоционально выражала свой восторг, что, казалось, не только душа, но и все ее тело участвовало в этой беседе: так заламывала она и простирала руки, так приседала и вздымалась на цыпочки, так качала и крутила головой, так прищелкивала пальцами и стучала каблучком по дощатому полу.  
Наконец, она все-таки вспомнила про «confidential talk», и поскольку Валера начал усердно наяривать молотком, отец Ерм вернул нас в свою келью.  
— Кстати, вот вам подарок, — сказал он Нэнси, стягивая со скамьи, на которой он спал, белую бурку, и приглашая нас жестом присесть. Нэнси одобрительно ощупала ее со всех сторон и сразу накинула на бархатный балахон. Отец Ерм царственно опустился в глубокое старинное кресло, которое смотрелось, как трон.  
— Я очень волнуюсь, — начала она.  
Я перевела.  
— Скажите ей, что она может не волноваться, — кивнул отец Ерм. — Пусть говорит все, что у нее на душе. Здесь некому ее осуждать.  
Я перевела.  
— В мире очень мало осталось гуманности, духовности, общечеловеческих ценностей, здесь правит зло. Это необходимо исправить. Надо что-то делать…  
Я перевела.  
Отец Ерм одобрительно кивнул:  
— Надо начинать с самого себя. Как сказал один святой: спасайся сам — тысячи вокруг спасутся. Прежде всего вам надо принять святое крещение. А там Господь поможет.  
Я перевела.  
— Как это совпадает с моими мыслями, — воскликнула она. — Именно, именно необходимо начать с себя. Иметь дело только с чистым непорочным человеком. Я богата. У меня свой дом в Оклахоме. У меня брат — бизнесмен. Я сама — менеджер. Я неплохо зарабатываю. Я могла бы взять на себя все расходы, для меня это не проблема.  
— Есть такое сугубое испытание деньгами, — вставил отец Ерм. — А кроме того — здесь не надо никаких денег. Это вам не будет ничего стоить. Брать деньги за таинство — большой грех. Даром получили — даром давайте!  
— Нет, — продолжала Нэнси, — это мой выбор, и я сама готова за все платить. Я готова ради этого пожертвовать всем.  
— Ну разве что это может быть пожертвованием, — рассудил отец Ерм. — И конечно, вы правы в том, что каждый человек сам должен нести ответственность за свои поступки. Ведь Господь его создал свободным сознательным существом. Только учтите — после крещения вы должны будете соблюдать церковные правила — исповедоваться, причащаться. А то некоторые покрестятся, а потом их как ветром сдуло: вроде как совершили некий магический обряд и успокоились.  
— Да, — сказала Нэнси, — в Америке сейчас очень много магии. Но мне не хотелось бы к ней прибегать. Очень многие занимаются спиритизмом, вызывают духов. Это все от одиночества.  
— С Богом человек не бывает одинок, — заметил отец Ерм.  
— А я очень одинока, — призналась Нэнси. — Ведь не каждого мужчину можно к себе приблизить. Повсюду теперь в Америке СПИД, наркомания, алкоголизм. Очень много сторонников однополой любви. Отвратительная наследственность. Испорченный генотип. Ужасная экология: повсюду целлофан, пластмасса, химия, радиоактивные выбросы. Все отравлено. В Америке сплошь да рядом рождаются дауны, идиоты. Никогда не знаешь наверняка, кто родится. Огромный риск.  
— Не только в Америке, — заметил отец Ерм. — Скажите ей, у нас тоже. Идиот на идиоте сидит, идиотом погоняет. Это — везде. Ваши опасения вполне понятны. Природа людей испорчена грехопадением. Это еще со времен Адама и Евы. Лишь святое крещение смывает с человека грехи.  
— Конечно, — продолжала Нэнси, — все это теперь можно у нас делать в лаборатории, искусственно, цивилизованно. Не как дикари. А под наблюдением специалистов. Все можно проверить заранее, по компьютеру. Кое–какие достижения цивилизации безусловно есть.  
— Бесспорно, — согласился отец Ерм, — скажите ей, мы это здесь очень хорошо понимаем. Нам надоело это невежество. Сидим, любуемся на свой лапоть и видеть ничего дальше него не желаем! Переведите.  
Я перевела, испытав, правда, некоторые затруднения со словом «лапоть».  
Нэнси вскочила со скамьи, кинулась к отцу Ерму и энергично потрясла ему руку.  
Он отнял руку, показал ей глазами на ее место и кинул:  
— Пусть продолжает.  
Тогда она сказала:  
— Я прочитала о вас, отец Ерм, в одном американском журнале — очень респектабельном, очень благополучном. Там же были и ваши фотографии. Вы смотритесь так миловидно (nice looking). И я поняла, что жизнь у вас в монастыре очень здоровая, очень полноценная.  
— Да, — живо откликнулся он. — Единственное спасение от мира — монастырь.  
— Я очень одинока в мире, — повторила она. — Любой мужчина повергает меня в страх. Ведь как узнать — он может быть инфицированный, он может быть просто не в себе, он может быть просто подлец…  
Отец Ерм покачал головой:  
— Да, тут уж необходима особенная осмотрительность…  
— Когда я увидела и прочила о вас, я поняла, что вы и есть то, что я ищу. Вы и есть тот, кто мне нужен.  
Отец Ерм махнул рукой:  
— В принципе, это может сделать любой священник, необязательно я. Любой священник может совершать церковное таинство…  
— О нет, далеко не любой, — горячо возразила Нэнси. — Только вы. Вы могли бы жить у меня в Оклахоме или остаться здесь, в монастыре, я бы не возражала…  
— Зачем в Оклахоме? — удивился отец Ерм. — Я никуда отсюда не поеду. Я же монах. Мы можем все совершить хоть завтра прямо здесь, в маленьком храме на Афонской горке. Вам только нужно подготовиться. У вас есть Символ веры?  
Нэнси была в восторге:  
— Конечно есть, у меня в жизни есть много таких символических вещей. Но я и не предполагала, что это можно в храме! Хотя, с другой стороны, это же настоящая мистерия! О, я знала, что вы поймете, что вы не будете против! Я не случайно выбрала именно вас в отцы моему будущему ребенку! Мы с ним будем вас навещать — ребенку же необходимо видеть отца. О, это будет особенный ребенок! Абсолютно экологически чистый и непорочный. Может быть, он даже станет каким-нибудь пророком или просто великим человеком! Святой ребенок!  
Тут она трижды тожественно произнесла это «saint baby», и глаза ее наполнились слезами. Видимо, она сама была подавлена грандиозностью своего замысла.  
Я сидела, ошарашенная ее откровением, и не могла произнести ни слова. И потом, мне было просто жаль отца Ерма.  
Наконец, я выдавила из себя:  
— Что-то я перестала ее понимать… Наверное, синтаксис для меня сложноват. И лексика. Произношение у нее американское. И говорит она неразборчиво. Все-таки мои познания в английском очень–очень скромные… Даже голова разболелась…  
— Наверное, тут на библейскую тему, — предположил отец Ерм. — Что-то о святом семействе. Разве не так?  
Понял он все-таки это «saint baby».  
Нэнси напряженно смотрела на нас.  
— Может быть, и на библейскую, — уклончиво согласилась я.  
Ну а что — этакая новоявленная Фамарь… Желает любой ценой заполучить вожделенное святое семя. Родить ребенка, не зараженного грехом… Боже мой!  
И в этот момент, на беду, в келью постучал Дионисий:  
— Отец Ерм, там к вам какие-то гавайцы с гитарами. Один в черной шляпе, а другой вообще в папахе со звездой… А третий — еще и с бубном.  
— Кто такие? Какие–такие гавайцы? Ничего не знаю. Ты как по–английски? Попереводи-ка тут. А вы пойдите, посмотрите, что там за гавайцы такие, — сказал он мне.  
Дионисий, профессорский сынок, английская спецшкола, уселся на мое место. Я сделала ему страшные глаза, пытаясь предупредить друга об опасности, и выскользнула вон.  
И вот Дионисий, ничего не подозревая, взялся добросовестно переводить «word by word» и вдруг осекся, но отец Ерм вполне благожелательно, но притом и властно на него смотрел, ожидая прояснения сути. И когда Дионисий, выбирая наиболее деликатные выражения, перевел, отец Ерм только тихонько хмыкнул, но по тому, как он это сделал, Дионисий понял, что до него так и не дошел смысл и он так и не уразумел, чего от него здесь хотят. И Дионисий подумал, что коль скоро его позвали как переводчика, то его функция и состоит в том, чтобы речь иностранки стала понятной игумену, и что если эта речь кого-то и обличает, то конечно же не отца Ерма — он-то тут не при чем… И потому попросту взял и растолковал нэнсины рассуждения самыми простыми словами. И не выдержал и расхохотался. Очень уж ему это показалось диковинным: заявиться к подвижнику с предложением зачать от него святое дитя! Улыбнулась и Нэнси, сияя зубами. И всего этого отец Ерм, до которого, наконец, «дошло», не мог выдержать. Конечно же, выгнал их, рявкнул грозное «вон», взметнул указательный палец, нацеливая его на дверь…  
Я же — прошла по Афонской горке. У беседки стояли три смуглых нездешних странника, все трое с усиками, и все с гитарами. Двое в черных шляпах, а на одном была нахлобучена настоящая каракулевая генеральская папаха с красной звездой. Стояли как ни в чем не бывало, посмеиваясь. Прошли группкой безо всякого пропуска, как в парк погулять. Того гляди, вот–вот достанут сигаретку и закурят, сладко затягиваясь на сентябрьском ветерке…  
— Вы ищите Нэнси? — спросила я.  
— Нэнси, Нэнси — загалдели они.  
— Она сейчас, — пообещала я, останавливаясь возле них.  
Действительно, вскоре вдалеке мелькнула белая бурка и стала удаляться в сторону мастерской. То, должно быть, добрый Дионисий повел несчастную Оклахому утешать в мастерскую.  
Мы с гавайцами двинулись следом.  
В мастерской действительно был уже «чи Егыпет, чи Афрыка» — садовник натопил на славу, но никого, кроме Нэнси и Дионисия, уже не было. И он сам, натрудившись, и Валера со Славиком, и все прочие подмастерья ушли молиться на вечернюю службу.  
Нэнси стояла в бурке и плакала. Гавайцы кинулись к ней, враждебно глядя на Дионисия, но она что-то сказала им, и они отошли в сторону, доставая гитары.  
— При чем здесь монах? При чем здесь служение? — причитала она. — Хотела иметь чистое дитя. Чистый плод. Я — хорошая порядочная женщина. У меня за всю жизнь было не больше пяти–шести мужчин! Я хотела выполнить свое предназначение. Какой же это грех? Женщина без ребенка — это неполноценная женщина. Пустоцвет.  
Дионисий сочувственно кивал.  
— Я про деньги ему сказала — я понимаю, такой человек не может быть корыстным, он неправильно понял, это дар от меня на монастырь. Это не то, что я хотела его купить. Я — порядочная чистая женщина. Я здорова. Я не пью, не курю, не колюсь. А он — что? Побыл монахом, очистился, достиг совершенства, — продолжала она всхлипывая. — Теперь принеси жертву Богу, оставь на земле святое потомство… Не просто же так он даже называется «отец»… Я не понимаю, почему такие неиспорченные достойные здоровые мужчины уходят в монастыри… Кому это нужно? Зачем?..  
— А ты поищи себе хорошего мужа в миру, — примирительно предложил Дионисий.  
— Как искать! — воскликнула она. — Надо же, чтобы были хоть какие-то рекомендации! Без рекомендации даже домработницу не берут в порядочный дом… Нет, я поняла, это может быть только монах!  
Она всхлипнула, достала большой носовой платок и обстоятельно высморкалась. Посмотрела пристально на Дионисия:  
— А ты? Что — тоже монах? Что — тоже не можешь жениться?  
Он замотал головой…  
— А если рискнуть, — неуверенно начал он, — и без всяких рекомендаций полюбить кого-нибудь — ну необязательно из монастыря, а грубо говоря — откуда угодно: с работы, с улицы, соседа, приятеля, гавайца, кубинца… Любовь покрывает все… И темные гены, и дурное воспитание, и влияние среды…  
— Это эгоизм, — покачала головой Нэнси. — Это может быть хорошо для себя, а ребенок рискует. Мало ли что ему перепадет в результате…  
И тут грянули гавайские гитары. Запели пронзительно и тревожно, с переборами, переворачивающими сердце, застучали по дощатому полу каблуки: дерзай, Карменсита!  
Откуда-то на столе появилось красное вино, стаканы. Нэнси демонстративно подошла и хлопнула целый стакан. Взор сразу поплыл, поплыл, слезы высохли, на лице появилась победительная улыбка. Ведь — менеджер, бизнес–woman.  
— Только не здесь — испугался Дионисий. — Пойдемте лучше в сад.  
Так и вышли, наигрывая на гитарах в осенний яблоневый сад, в сентябрьские влажные сумерки.  
— Туда, туда — властно указывала Нэнси гавайцам в направлении Ермовой кельи.  
Расположились прямо перед дверями в каких-то десяти метрах, под деревьями. И пошло, и пошло: задрожали струны, соперничая с двумя тенорами, одним баритоном, будоража округу: эх, гавайские страсти, испанские фиоритуры, Гонолулу, гирлянды, кастаньеты, бубны, идальго, роковой океан, кипарисы, амарилисы, смоквы. Крепкая, как смерть, любовь, страшная, как преисподняя, ревность. Всегда и повсюду и здесь, на самой высокой Афонской горке. И ныне и присно.  
— Я хочу, чтобы он услышал, чтобы он все понял, — сказала мне Нэнси, кивая в сторону кельи. — А то «я — монах, я — монах». А толку что? Недаром же его называют «отец»! Я же к нему — от чистого сердца, от святой любви!  
Но отец Ерм и так уже все услышал, и так все понял. Оскорбленный, он рванул дверь и вылетел на порог. Тут-то, пританцовывая и покачивая головой, подступил к нему, выкидывая вперед ноги в сапожках, тот, в папахе, запел соло, томно закатывая глаза. Такая жалобная надрывная серенада. «Кисьерра мурир де сантимэнто!» — взмывал к небесам страдальческий одинокий голос. Даже и не понимая слов, можно было вместе с ним умереть от чувств. Ему вторил бубен, утруждая каждый бубенчик. Даже туман вокруг стал таять, как воск, сумерки стекали с голых бесплодных яблонь…  
Отец Ерм отпрянул, захлопнул перед папахой дверь, потом через мгновение вновь распахнул и, размахнувшись, швырнул к ногам Нэнси красную сумку с засунутыми туда наспех подарками…  
А она в ответ сорвала с себя кольца, браслеты, серьги, красные бусы и кинула в дверь его кельи — мол, нате, берите, ничего мне теперь не мило, ничего не надо!  
Но гавайцы будто не замечали этого. Будто это было в порядке вещей. Будто здесь так принято. Запели на три голоса, наслаждаясь песней, щеголяя гитарными переборами, дрожащей струной… И Нэнси вдруг поняла, что ей больше не на что здесь надеяться, некого умолять. Властно рявкнула «хватит»:  
— That’s all! It’s time!  
Закуталась в бурку, поясняя: это — его подарок! Гавайцы послушно засеменили вслед за ней вниз по Афонской горке, потом дружно остановились, повернулись и поприветствовали нас воздетыми ввысь гитарами. Так и не покрестил отец Ерм Нэнси. Так и не сделалась она Нонной…  
Но — слава Богу — никто толком в монастыре не услышал этих безумных серенад: все были в храме, а то бы не избежать скандала. Господь покрыл — и все сошло с рук.  
А отец Ерм напрочь затворился в своей келье, ушел в двухнедельный затвор. Чем он там питался, что пил?..  
С этих пор, как только его слуха достигали выражения, вроде «цивилизованный мир» или «общечеловеческие ценности», он весьма даже заметно морщился и отворачивался, краснея…  
Все чаще и чаще он говорил:  
— Плох тот духовник, который вместо того, чтобы приводить верующего человека ко Христу, привлекает его к себе. Если он видит, что тут начинает действовать простое человеческое пристрастие, он должен немедленно отойти.  
И испытующе посматривал на своих духовных чад. И все мы начинали делать такое безразличное лицо, словно лично отец Ерм нас вовсе не интересует, словно мы вовсе к нему и не привязаны сердечной любовью, а просто слушаем его из вежливости, из послушания — нелицеприятно, с полным бесстрастием. И поэтому вовсе не надо ему никуда от нас отходить.  
А потом, когда мы усвоили этот урок, он стал говорить:  
— Плохо то чадо, которое подлавливает своего отца в минуту немощи, говорит: «А–а, он такой же грешный человек, как и я. Зачем мне слушать его?» Запомните, только плебей, счищающий грязь с обуви своего господина, может вообразить, что его хозяин только и делает, что ходит по жидкой глине, по мокрому заплеванному песку…  
— Да–да, — говорили мы, — только плебей, плебей по душе, такой презренный лакей…  
Ах, мы чувствовали, что нашему духовному отцу что-то не по себе. Будто бы эта Оклахома выставила его посмешищем, и он страдает. Часто он брал большой черный зонт и шел по Афонской горке гулять под дождем туда–сюда, туда–сюда. Какая-то важная дума, что ли, зрела у него в груди. Ему нужна была какая-то новая большая идея, большая любовь…  
Вот тогда-то и нагрянуло к нему католичество, привезли даже портрет Папы.  
Приехали к нему какие-то эмиссары–иезуиты, надарили всяких книг — «Розарий» Игнатия Лойолы, «Житие Терезы из Лизье», всякие там энциклики. И отец Ерм после их отъезда с жаром восклицал в своей мастерской:  
— Я уверен — без Папы мы не проживем! — И повесил у себя в келье его портрет.  
Но Дионисий, несмотря на такой новый поворот, так и остался козлом отпущения за ту неудавшуюся Фамарь из Оклахомы, — именно он ведь растолковывал наивному игумену истинную цель ее приезда. Ну и отец Ерм как-то демонстративно перестал с ним общаться. То есть он сидит в мастерской работает, а отец Ерм делает вид, что его и вовсе не существует. И Дионисий восскорбел. Стал утешаться красным винцом. Даже к старцу Кукше ездил за сто километров, как отец Ерм язвительно заметил, «погадать». Но тот старец ему сказал: «Слово серебро, а молчание — золото». И он понял это так, что не надо пускаться с отцом Ермом в объяснения. Бродил по вечерам по Афонской горке с несчастным лицом. Наблюдал, как иезуиты эти, очень даже довольные, вылезают из кельи игумена, раскланиваются с ним, вид у них самый заговорщицкий и даже победоносный: заловили чистого доверчивого человека в свои басурманские сети!  
И вот как-то раз, весьма утешенный винным утешением, потихоньку накурившийся паршивых сигарет под прикрытием огромной елки, увидел — вдалеке, внизу, по тропинке отец Ерм идет. Идет отец Ерм, и идет первый настоящий снег. Спрятался Дионисий за своей елкой, а соблазн велик. Стал лепить снежки — ладные такие, крепкие получились, приятно в руке их держать. Глянул опять, как отец Ерм идет внизу, приближается, раздетый, в одной легкой ряске, и только вокруг шеи длинный по ветру шарф. И вдруг как кинет в него снежок. Потом другой, третий. Тот вскинулся, остановился, оглядывается: кто это? Что? Как? А снежки ему в плечо, в грудь…  
— Я не замечаю грязи на ваших ботинках, отец Ерм! — стал кричать Дионисий.  
Тот начал пятиться, уворачиваться, закрываться рукой, а Дионисий все лепит новые и кидает, кидает в него. Весело. Дух захватывает. Как в детстве. Кидает и кидает. Вышел из-за елки, стоит во весь рост. Словно вызывает отца Ерма на снежный бой. Будто вот–вот — прямо сейчас отец Ерм тоже скатает кругленький снежок и пальнет в Дионисия. Но — нет: отец Ерм кричит что-то, грозит, а Дионисий хохочет. Всего отца Ерма снегом закидал, и тот, в конце концов, убежал, сдался.  
Тогда Дионисий сел прямо в снег, посидел–посидел и заплакал. Так сидел и повторял себе:  
— Дюдя! Дюдя и есть! «Древо, коренящееся в аду»!

А мне вся эта история с Нэнси, можно сказать, придала весу. Вышла я абсолютно сухонькой из этой мутной воды. Даже на фоне Дионисия выросла в глазах отца Ерма. Он предпочел забыть, что видел меня с гавайцами — тогда, в сумерках, в яблоневом саду. Как-то раз он сказал мне по большому секрету:  
— Я собираюсь отделиться от монастыря и построить свой собственный скит. Там будет все строго по канонам. Это будет настоящий образцовый миссионерский скит. Мы будем, наконец, объединять Церкви. И вам там будет уготовано место! Сидите, пишите, сочиняйте!  
А через два месяца в Москве мне позвонил какой-то американец и сказал, что привез из Америки посылку. Мы встретились, и он протянул мне сверток. Там было платье из змеиной кожи и черная бархатная накидка, — дар Нэнси. Я все хотела их куда-нибудь надеть, но получалось что-то слишком уж экстравагантно, не для моей жизни. Ну а кроме того — казалось, что на мне этот наряд слишком уж вызывающе и надрывно кричал на все четыре стороны о грехопадении первых людей.

**Женское священство**

Когда-то мы ездили с этим Стрельбицким в большой писательской компании ко Гробу Господню. Он отстал где-то на виа Долороса, потому что купил халву. Ел и нахваливал:  
— Хорошая халва, свежая! — И меня угощал: — Отведай. Нигде такой халвы больше нет. А туда, туда, — он указывал в сторону церкви, — я больше не пойду. Я там уже бывал, все видел. Я лучше тебя здесь подожду — погуляю, халвы поем. А ты приходи поскорее — вместе кофе попьем.  
У нас с ним существовал обычай: приезжая в какой-либо город, мы первым делом отыскивали уютное кафе и пили там кофе с коньячком, нежась на солнышке и оглядывая окрестности. В Афинах мы пили кофе возле Акрополя. В Париже, естественно, — у Нотр–Дам. А в Египте — подле сфинкса. В Москве лютовала зима, а мы сидели, нежась на жарком солнышке и поджидали друзей–экскурсантов, полезших на скалы разглядывать загадочное чудовище. Настроение у Стрельбицкого было радостное, даже игривое.  
— Люди делятся на умных и на туристов, — сказал он.  
Рядом, почти вплотную к кафе, раскинулся небольшой рынок — этакое перекати–поле. Зазывные звуки, звон меди, запахи шаурмы… Мальчишки облепили нас, дергая за рукав и предлагая майки, циновки и амулеты:  
— Мистер, мистер, ван долляр, ван долляр, — кричали они.  
Вдруг Стрельбицкий остановился возле лавки с развешанной на веревках пестрой национальной одеждой. Через десять минут он уже стоял в какой-то тунисской робе и турецкой феске, а меня нарядил в красное арабское платье с золотыми цветами и белый мусульманский платок с монетками. Так мы и вернулись в кафе, заказали еще по рюмочке и стали высматривать в толпе разноперых туристов своих соотечественников и коллег.  
Вообще на Стрельбицкого это было не похоже — такой «хомо играющий»… Нет, он всегда был подтянутый, вежливый, подчеркнуто дистанцированный. Но если бы ему сказали, что порой он выглядел чванливо, он бы замахал руками: «Нет, нет, терпеть не могу чванства, надутости».  
— Я люблю простоту, — говорил он. — В аскетизме есть свой изысканный вкус. И не выношу излишеств. Вот возьмем церковь: все эти крашеные яички, бумажные цветочки… Мутит от этой аляповатости. У протестантов все как-то искреннее, обнаженнее, проще… В Бога-то я верю. Ну конечно — не в того, с бородой, сидящего на воздусех. А в некий высший закон. Словом, что-то есть на этом свете, что-то есть. Так вот — в Бога я верю, а вот в лукавого — это уволь, не могу…  
— Да? — удивилась я. — В лукавого, мне кажется, сейчас куда легче уверовать, чем в Бога, — так много свидетельств! А кто же тогда искушал Господа в пустыне?  
— Не знаю, — пожал он плечами, — фантазии, наверное, у него какие-то были. Игра подсознательного. Ты Юнга читала?  
Я читала. И не мне было проповедовать Стрельбицкому. Конечно, не мне! Он знал меня с детства. То есть он был уже известным писателем, а я была мелюзгой, дочкой его приятелей. Потому теперь он относился ко мне покровительственно и даже учительственно.  
— Никогда не думай, что сможешь осчастливить человечество своими стихами! Никогда не пытайся предугадать, как могут оценить то, что ты пишешь! Всех, кто будет высказывать свое мнение о твоих опусах, слушай, но не слушайся!  
Так наставлял меня знаменитый писатель Стрельбицкий, и конечно не мне было обращать его в свою веру.  
Но мой духовный отец игумен Ерм, когда был однажды проездом в Москве, встретил его у меня и удивился вслух:  
— Да как же вы не верите в лукавого? Его же слугами здесь все кишит. — И он взмахнул рукавами рясы, словно разгоняя надоедливых мух: — Кыш!  
Стрельбицкому это очень понравилось, и он потом часто рассказывал, как его познакомили с одним «крупным священным чином» и он вот так запросто — рукавами рясы — разгонял пред собой назойливых незримых бесов.  
А игумен Ерм сказал:  
— А если своими глазами беса увидите, то уверуете?  
— Уверую.  
— А тогда покреститесь?  
— Тогда покрещусь.  
И отец Ерм грациозно опустился на колени перед иконой Спасителя и перекрестился.  
— Ну, теперь ждите…  
Года через полтора, когда мы и поехали со Стрельбицким в писательскую поездку в Израиль и отправились ко Гробу Господню, и он купил и ел ту самую халву, я вдруг спросила его:  
— Скажите, а вы беса видели?  
Он поморщился:  
— Что я, старушка, что ли?  
Я спросила:  
— А может быть, все-таки зайдем в храм?  
Он сказал:  
— Что ты! Я теперь даже на метро не езжу — боюсь замкнутого пространства. Спускаешься туда, как в преисподнюю: темно, тесно, духота. Форменный ад. Вот и в церкви — не протолкнуться. Задыхаюсь я там. Лучше уж я здесь в кафе тебя подожду.  
Так что мои миссионерские шансы были равны нулю, если не отрицательной величине. О чем я и сообщила его жене Анне. А ведь она так просила меня перед отъездом:  
— Затащи, умоляю, Стрельбицкого любой ценой ко Гробу Господню. Может, его там проберет, и он наконец покрестится. А то ведь помрет старикашка некрещеный, что делать будем?  
— Как его затащишь? — оправдывалась я. — Насильно никого к Богу не приведешь.  
— Эх ты! — только и сказала она мне разочарованно и уехала в какой-то дальний заштатный городок к иеромонаху Киприану, который, как говорят, был великим постником и молитвенником, а при этом приходился родным братом известному правозащитнику. Первым делом он поставил ее на молитву, «чтобы отошел блудный бес», которого она «привезла на себе». После трехчасовой молитвы она дерзнула обратиться к нему с просьбой «вымолить Стрельбицкого и покрестить». И отец Киприан обещал все исполнить и даже дал ей ангела на обратную дорогу:  
— Даю тебе ангела на дорогу, Анна!  
Уезжая, потрясенная, она думала: «Да что это за человек, что он может и ангелов на дорогу давать!»  
И вот она стала частенько к нему ездить и молиться и внимать вдохновенным речам своего наставника. И вообще она мне признавалась, что, если бы не Стрельбицкий, она бы так и осталась при отце Киприане: кормить, убирать, украшать ему жизнь — такой человек! А между прочим, была эта Анна дамой очень даже великосветской и обожала комфорт. Квартира ее представляла собой наикокетливейшим образом убранный уголок, обвешанный и обставленный всякими штучками, куколками, вазочками, корзиночками, бантиками, зеркальцами, колокольчиками, зверюшками, картиночками, цветочками, шкатулочками и проч., и проч. Но совершенно некому было это оценить, так ей казалось. И вообще — Стрельбицкий с некоторого времени предпочитал жить по–спартански, отдельно, на даче. Но она навещала его почти каждый день, привозила еду, чистое белье, дюжину историй, произошедших с ней за время их «разлуки». И вот она «чирикала», а Стрельбицкий еду «поклевывал» и начинал томиться от ее присутствия. Тогда она тут же делала вид, что ей самой позарез надо спешить, «дел куча», и убегала, умоляя его «не скучать», потому что она скоро вернется.  
Надо сказать, что какие-то дела у нее действительно были. Как-то само собой она сделалась менеджером и литагентом Стрельбицкого и очень умело его «раскручивала», сама не подозревая, как это называется. Она считала, что имя ей просто Муза. А Муза писателя должна быть всегда легка на подъем, нарядна: в бусиках, румянах и шляпках, острословна, весела, певуча, танцевальна, рисовальна — она приносила ему свои рисуночки, на которых изображала себя с огромными голубыми глазами, удивленно глядящими из гущи ресниц, и маленьким красным ротиком, напоминающим сердечко. Муза писателя должна быть загадочна — она загадывала загадки: в какой руке? Она должна быть таинственна — в каждом испеченном ею пирожке был «секрет», который угадает только отведавший. Муза должна быть неотмирна и ангелоподобна, особенно если ее подопечный — гениальный Стрельбицкий, у которого «свои отношения с Богом». Словом, Муза должна покрывать все изъяны личности своего избранника. Поэтому она и ездила к «сугубому подвижнику и великому молитвеннику и прозорливцу», как она называла отца Киприана, и умоляла его как следует попросить Бога за Стрельбицкого. Но Стрельбицкий упирался, морщась, все говорил о каких-то «крашеных яичках и бумажных цветочках», а сам все глубже забивался в свой угол, все реже бывал дома в Москве, отсиживаясь на холодной даче, пугаясь теперь не только метро, но просто многолюдных собраний и даже гостей.  
Наконец, отец Киприан сказал ей:  
— Все! Едем освещать тебе квартиру!  
Посадил к себе в машину и погнал в кромешной темноте на дикой скорости в Москву. Но ей не было страшно, потому что даже умереть рядом с таким человеком казалось ей участью не такой уж плохой: возьмет за ручку да и втащит за собою в рай. Домчались, однако, благополучно.  
Он разжег кадило, достал из дорожного чемоданчика святую воду, дал ей в руку зажженную свечу. Проходя мимо письменного стола Стрельбицкого и помахивая дымящимся кадилом, он вдруг замер:  
— А это еще что такое?  
Он указал на маленького чугунного чертика, сидевшего возле вазочки с карандашами и ручками.  
— Это? — смутилась Анна. — Это Стрельбицкого. Он привез из Испании и поставил сюда. Вообще-то он здесь не работает, но когда съемки, интервью, сидит за этим столом. Это декоративный стол.  
Отец Киприан взял чертика брезгливо двумя пальцами за загривок и вышвырнул в открытое окно.  
— Ой, — она втянула голову в плечи, — а если кого убьет? Там у нас под окнами улица.  
— Ничего, — спокойно кивнул отец Киприан, — если кого убьет, то именно того, кого надо.  
Слава Богу, что никого так и не понадобилось убивать этому чертику! И он просто канул в бездну, где ему и подобало быть. Да! Потому что Анна потом ходила и искала его под окнами, но не нашла. Он исчез от рук отца Киприана, и Стрельбицкий не заметил пропажи.  
Меж тем отец Киприан стал обходить дом и рисовать на стенах освещенным елеем крестики — ровно четыре, по четырем сторонам света. Один приходился на западную стену, то есть на кабинет Стрельбицкого. И Анна попросила:  
— Знаете, у моего мужа очень сложные отношения с Богом. Мало ли что, если он вдруг заметит на своей стене крест. Может даже возмутиться, что на него оказывают психологическое давление, и сказанет что-нибудь кощунственное. Так что вы уж сотворите его как-нибудь тайно, этот крест. Ну, тайнообразующе…  
Отец Киприан все понял. Не надо смущать писателя. Не надо даже невольно провоцировать его шаткое сознание. Поэтому он залез на стул, снял со стены картину, которая висела над шкафом, и под ней начертал знамение. И сказал Анне весьма уверенно:  
— Все будет как надо! Он обязательно примет святое крещение, когда этого захочет Господь, дивным образом, ты увидишь!  
Как-то раз она спросила его — не без некоторого кокетства, почему это женщина не может быть священником — совершать таинства, проповедовать, служить ближнему. Ведь в женщине самим Богом заложено именно это, пастырское начало. Вечно она кого-нибудь пасет — мужа, детей, ну и так далее.  
Отец Киприан, несмотря на ее игривый тон, ответил ей очень серьезно и даже строго:  
— Вот послушай и запомни. Если кто-нибудь когда-нибудь из тех, кто считает себя церковным человеком, скажет тебе, что женское священство возможно и что нет для этого никаких вероучительных преград, а тем паче — если он сделает прекраснодушное предположение, что из тебя могла бы получиться неплохая священница, немедленно поворачивайся и дуй от него во все лопатки. Поняла?  
Она опешила, но кивнула:  
— Я не поняла, почему это я должна так стремительно куда-то бежать, но я обязательно сделаю именно так, как вы говорите.  
Ах, всем отец Киприан был хорош — и молитвой, и дерзновенным подвигом, и вдохновенной проповедью. Одна лишь немощь была у него: хороший автомобиль. Он называл его «добрый коник». Любил он усесться на своего «коника» и, подоткнув подрясник, дать по ночному шоссе километров сто шестьдесят, этак, в час.  
Старец Игнатий ему так и сказал:  
— Киприан, меня беспокоит немощь твоя. Продай-ка автомобиль.  
А он только что ведь поменял «ниву» свою на «лэнд–ровер», брат ему, только–только вышедший из опалы, отвалил своих правозащитных денег. Ну и отец Киприан решил: храм у него почти что сельский, приходской, как дивно на требы через луга да пустыри этот «лэнд–ровер» мчится! А так, пока пехом или на ломающейся «ниве» дошкандыбаешь, бабка, заждавшаяся причастия, глядишь, и помрет. Но раз старец сказал, как не послушаться? Так что помирай, бабка, помирай, старая, все равно Господь тебя здесь за обе ручки удержит, ради того, чтобы ты дождалась такого послушного, такого кроткого иеромонаха со Святыми Дарами.  
Итак, продал он машину, все деньги в ремонт храма вложил, нищенствующим духовным чадам пораздавал. А тут ему лукавый — бац! — и другой автомобиль подсунул. Хоть и не «лэнд–ровер», а все ж приемистый, скоростной «опель».  
Приехал к нему приятель, человек не бедный, говорит:  
— Киприан, я по твоим молитвам исцелился. Собираюсь за кордон и с концами. Так что возьми мою машину и не забывай обо мне.  
Но об этой машине старец отцу Киприану ничего не сказывал, не давал насчет нее никаких указаний. А то — что бы получилось — одну машину иеромонах продает, потом — другую, да это властям подозрительным бы показалось, что он, машинный торговец, в конце концов! Поэтому он запросто оседлал этого нового коника и погнал в Питер. Ах, не мог он ездить медленно, отец Киприан! Как-то он весь не умещался в единой точке пространства, в собственном теле: ходил стремительно, говорил громко, открывал дверь с грохотом, падал на колени с размаха, перед Престолом воздевал огромные руки горе во весь алтарь… Что-то трагическое было в нем — обжигающая горячность, чрезмерность, к которой не может приноровиться мир. Там, на дороге, и разбился насмерть. То ли заснул за рулем — ездил всегда по ночам. То ли… Анна предполагала, что это, возможно, известно чья месть: у брата много было врагов, а во времена Советской власти, Киприан часто скрывал у себя и его, и подельников–диссидентов…  
Конечно, все его духовные чада были просто убиты горем: как же так, такой молодой, в расцвете сил — ему не было ведь и сорока — а кроме того, как он молился, какие чудеса совершались по его духовным ходатайствам. И Анна просто места себе не находила: ей казалось, вот нашелся единственный человек, который мог оценить ее жизненный подвиг, и тот — погиб.  
Вскоре после гибели она поехала со Стрельбицким на машине в Питер. Дело было в сентябре, и пора выдалась грибная, даже на шоссе стоял грибной дух, а по обочинам возле деревень то тут, то там стояли бабки, дети, мужики, бабы с полными кошелками грибов, выставленных на продажу.  
В Питере они пробыли всего два дня: у Стрельбицкого была презентация новой книги, после чего они ранним утром и отправились обратно. Анна, которая безумно любила грибы, мечтала остановиться у ближайших поселян и скупить все: полный багажник и еще корзинку, которую специально приобрела для этого в Питере. Но они проехали двести километров, триста, четыреста, а грибников почему-то нигде не было видно. Это ее расстроило, и она даже позабыла о Стрельбицком, задремавшем на заднем сиденье. Сидела, печальная, думала что-то вроде того, что жизнь кончена и далее не будет уже ни–че–го! И вдруг машину затрясло, кинуло в сторону, она ударила по тормозам и замерла на краю обочины. Вышла. Посмотрела: спустило колесо. Стрельбицкого брать в помощники бесполезно. Помахала рукой мчавшимся автомобилям. Остановилась «нива».  
— Колесо? — переспросил мужик, уже сжимая в руках домкрат и монтировку.  
Машинально заглянула к нему в кабину и обомлела: заднего сиденья в ней не было, зато вместо него были корзины, корзины, корзины грибов.  
— Не продадите? — безнадежно и умоляюще спросила она.  
Мужик удивился:  
— Почему не продам? На рынок и везу. А вам сколько?  
— Все!  
На новеньком колесе, с полным багажником и корзинкой грибов, трогаясь с места, она решила запомнить название места, где было с преизбытком исполнено ее такое маленькое, но горячее желание. Через сто метров начиналась деревня «Сосенки».  
— Сосенки! — закричала она.  
— Ты что? — испугался Стрельбицкий.  
— Сосенки! — повторила она. — Это же деревня, около которой погиб отец Киприан!  
Это привело ее в такой восторг, что, завезя домой Стрельбицкого и разделавшись с грибами, она помчалась к старцу Игнатию, которого, как она знала, почитал отец Киприан, с вестью о том, какой подарок ей сделал ее покойный духовник. Старец схватился за голову и категорически запретил ей принимать какие-либо помыслы о загробных весточках отца Киприана.  
— Какие наваждения лукавый творит! — сказал он ей напоследок. — Запомни, у мертвых с живыми никакого общения нет!  
Это ужасно ее расстроило, но, вернувшись домой, она тут же попала в водоворот Стрельбицкого: корреспондент Би–би–си, телевидение, приглашение во Францию… Снимали Стрельбицкого, как всегда, в его кабинете — за тем столом, на котором стоял когда-то чугунный чертик. Анна навела блеск, привезла Стрельбицкого с дачи, переодела, пошла на кухню готовить тосты. Вот–вот должны были пожаловать телевизионщики.  
Вдруг раздался вопль Стрельбицкого:  
— Анна, Анна, сюда!  
Она вбежала в комнату. Он стоял на стуле с картиной в руках. Той, которая всегда висела над книжным шкафом.  
— Произошло чудо! — лепетал он. — У нас на стене под картиной проступил крест! Чудо! Чудо!  
Она взглянула на стену и увидела большой крест, который нарисовал здесь елеем отец Киприан, когда освещал дом.  
— Стрельбицкий, это — знак!  
— Знак? — испугался он.  
— Это хороший знак, Стрельбицкий. Тебе пора принимать крещенье.  
Но и тогда он не покрестился. А она заподозрила, что старец сведущ, да не во всем:  
— Ведь как только я готова была уже поверить, что у нас с отцом Киприаном нет ничего общего, как утверждает старец Игнатий, он тотчас же прислал о себе новую весть. Ты не представляешь, — возбужденно говорила она мне, — Стрельбицкий никогда в жизни не залезал на стул и не снимал со стены ни одной картины! Это все — отец Киприан! Буду теперь всегда обращаться только к нему, а к старцу больше никогда не поеду!  
Однако весьма в скором времени ей пришлось очень пожалеть о своих зароках. Пришлось ей все-таки слезно припасть к старцу Игнатию…  
Началось с того, что Стрельбицкий, который терпеть не мог сидеть за рулем, да и водить-то толком не умел, разве что права у него были, вдруг забрал у Анны машину, сославшись на то, что иногда не может до нее дозвониться именно в тот момент, когда ему срочно надо ехать «по делам». Поскольку все его «дела», особенно те, по которым надо куда-то ехать, были сосредоточены в ее руках, Анна предположила, что Стрельбицкий просто хочет сделать глоток свободы и потому вырваться из-под ее контроля, однако не только не увидела в этом никакого криминала, но и сочла, что Стрельбицкому с его повсеместной «преисподней» это будет полезно.  
Однако убирая как-то на его спартанской даче, она подошла к телефону и, прежде чем успела произнести в трубку «але», услышала чрезвычайно противный, как ей показалось, жеманный женский голос, который сказал:  
— Мяу, Стрельбицкий, ну где же ты? Сам же вызвался меня подвезти. Твой котик тебя ждет. Кис–кис!  
Анна так растерялась, что потеряла дар речи. Она бросила трубку, дождалась Стрельбицкого, который вернулся чуть не под утро, и устроила ему допрос с пристрастием. Он нехотя ей признался, что помогает одной юной девушке — поистине юному дарованию, но это ненадолго, она такая беспомощная, не может, как и он, ездить на метро, он ей сочувствует, отвез ее стихи в журнал, книгу — в издательство, познакомил с тем–сем, предварил несколькими добрыми словами ее выступление, она чуть не в обмороке перед публикой…  
— А почему она, юное дарование, тебя, уже немолодого человека, называет «котик»?  
— Ах, оставь, — отмахнулся он, — это у них так теперь принято. Тусовка.  
В общем, понятно. Все это кончается известно как. Ждет Анну тоскливая одинокая старость. Она представила на себе монашеский штапель, мысленно примерила клобук. Бессонные ночи в коленопреклоненных молитвах. Как-то даже растрогалась, умилилась. Потом выяснились новые подробности.  
Позвонила ей какая-то незнакомка, представилась дипломированным «белым» экстрасенсом Тамарой. Попросила о встрече. У нее, оказывается, была за несколько месяцев до их разговора «юная девушка», она же и «юное дарование». Попросила приворожить ей Стрельбицкого. Тамара, однако, задав ей несколько вопросов, в частности, узнав, что он женат и посмотрев на фотографии его и Анны, которые ей предъявила посетительница (каким образом они к ней попали, интересно?), отказалась. Та хмыкнула, забрала фотографии и пообещала, что она найдет себе колдунью покруче. Теперь эта Тамара, почуяв, как она выразилась, «на астральном уровне», что та действительно кого-то нашла и задействовала, хочет помочь Анне, у которой, если судить по фотографии, очень хорошая аура, и Стрельбицкому, от книг которого она «в восхищении». Она готова сразиться с обступившей их нечистью, удалить от них навсегда разлучницу и ту колдунью, которая «вступила в игру». Потому что она, Тамара, представляет собой белую магию, а колдунья наверняка — черную, и Тамара готова с ней померяться силами.  
Анна поблагодарила ее за доброе расположение, однако от услуг отказалась.  
— Стрельбицкий и так такой нежизнеспособный, худой. Бледный да и еще и некрещеный, а они устроят на нем поле астральной битвы! — пожаловалась она мне. — Лучше попрошу отца Киприана мне помочь.  
Поставила перед собой фотографию в траурной рамке и стала просить:  
— Отец Киприан, помогите мне!  
Неделю просила, две, три… Стрельбицкий за это время успел свозить свою подопечную к морю, перезнакомил со всеми литературными друзьями. При встрече они смотрят на Анну сочувственно, отводят глаза, а кто-то даже и поглаживает по руке: «Ничего, ничего, все уляжется, успокоится…»  
Бессонница у Анны началась. Ходит по дому из угла в угол — места себе не найдет. Пробует молиться — не получается. Решила Евангелие почитать, успокоиться. Раскрыла наугад. А там как раз то место, где говорится о жадном богаче и нищем Лазаре. И вот этот богач, попав в ад, видит Лазаря на лоне Авраамовом. И просит Авраама, чтоб тот послал к нему Лазаря прохладить ему жаждущий язык его. Но Авраам отвечает: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящии перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». И хотя это было сказано о непреоборимой черте между узниками ада и праведниками, населяющими некое «лоно Авраамово», Анна вдруг поняла, что напрасно она вопиет к отцу Киприану — сам, бедный, разбился во цвете лет на ночном шоссе, сам — не дожил, не домолился, не вкусил полноты лет, не насытился днями, канул в никуда возле чужих «Сосенок» и теперь сам, возможно, нуждается в ее молитвах об упокоении, а она теребит его дух своими стенаниями, будоражит своей бессонницей… Нехорошо это…  
Ну и поехали мы с ней по старцам. Были в Лавре у отца Кирилла, были в Псково–Печерском монастыре у отца Иоанна Крестьянкина, были в Свято–Троицком монастыре у отца Игнатия.  
И все уверяли ее, что Стрельбицкий, в конце концов, по милосердию Божиему примет крещение.  
А отец Игнатий так даже и сказал:  
— Вы сами его и покрестите. Знаете как? Возьмете святой Крещенской воды и трижды покропите его со словами: «Крещается раб Божий (имярек) во имя Отца (аминь) и Сына (аминь) и Святого Духа (аминь).  
— А имярек — это что? С каким именем-то я его покрещу? Имя-то у него не то что басурманское, а вообще неизвестно какое. Май — вот как его родители назвали.  
— А нареките его Андреем. Очень он на Андрея похож. Будет он в честь преподобного Андрея Критского. Тоже ведь писатель…  
— Так это его любимое имя! Его любимый герой — Андрей. Это из его романа. Он себя невольно отождествлял с ним. Он и есть Андрей!  
Старец улыбался. Кивал. Вдруг тень пробежала по ее лицу: если она будет сама крестить Стрельбицкого, значит, она будет уже как бы и священница. И если старец Игнатий ей предлагает такое, то она, по благословению отца Киприана, должна немедленно отсюда бежать.  
— Не смущайтесь, — перебил ее мысли старец, — крестить на смертном одре может и простой мирянин. Это — единственное таинство, которое в трагической ситуации ему можно беспрепятственно совершать.  
Она с удивлением воззрилась на него и засмеялась: если старец умеет читать все, что происходит у человека внутри, зачем тогда его о чем-то спрашивать, можно просто сидеть возле него и молчать. И все-таки спросила:  
— А вдруг пока я здесь молюсь, эта разлучница проникнет в дом и наколдует там?  
— Не проникнет! Не наколдует, — спокойно отвечал старец.  
— Ну или он уедет к ней, воспользовавшись тем, что меня нет в Москве….  
— Не уедет! — тянул он.  
— Или увезет ее в путешествие…  
— Не увезет, — терпеливо возражал отец Игнатий.  
— Нет, я просто уверена, он обязательно извлечет выгоду из моего отъезда. Пока я тут разъезжаю по монастырям, он…  
— Не извлечет! Господь ему не позволит.  
Она хотела было заметить, что Господь много чего уже ему напозволял, но старец так мирно и кротко ей отвечал, что она решила положиться на его слова. Будь что будет.  
Вернувшись, она нашла Стрельбицкого в отчаянном состоянии: четыре колеса его машины были проколоты неизвестными в ночь нашего отъезда, а сам Стрельбицкий (для подтверждения слов отца Игнатия) был прикован к постели, и вот по какой безумной причине. Он натер на ступне мозоль и почему-то ему казалось, что она немедленно сойдет, если он приложит к ней ватку, смоченную уксусом, но вместо уксуса он (очевидно тоже — для вящей надежности уверений старца) прилепил к ней пластырем вату с уксусной эссенцией и тем самым сжег себе всю подошву. Целый месяц после этого он не мог обуть ботинок и еле–еле передвигался по дому, хромая. Этого срока вполне хватило, чтобы его возлюбленная закрутила роман с молодым человеком, сыном какой-то знаменитости, и зачала от него ребенка, которого было и попыталась потом «списать» на Стрельбицкого. Но сроки не совпадали. Стрельбицкий стал для нее абсолютно недоступен: Анна не подзывала его к телефону и проверяла почту. Натыкаясь на письма соперницы, тут же выкидывала их в мусоропровод. И все кончилось миром и благоденствием. Уксус старца оказался посильнее приворота черной волшебницы.  
Но креститься Стрельбицкий по–прежнему не желал…  
Теперь на дачу он ездил крайне редко и неохотно, а целыми днями, потухший и бледный, лежал у себя в кабинете на диване и смотрел телевизор.  
Анна пришла ко мне и расплакалась:  
— Понимаешь, он же беспомощный, болезненный, жизнь в нем с каждым днем убывает. А креститься не хочет! Упирается. Я ему говорю: «Вот что-нибудь с тобой случится, и мы с тобой в разных сферах окажемся. Потому что я крещеная, а ты — нет. И венчаться поэтому мы с тобой не можем. И на том свете точно окажемся врозь». Он подумал и говорит: «Ну ладно, покреститься я покрещусь, только не в церкви. Знаешь, как мне все это претит — крашеные яички, бумажные цветочки, рушнички… Вся эта старушечья бутафория… Мутит меня от нее. Тошно. Не хочу я этого пафоса, всей этой пышности, золота, церемоний… Так и быть, покрещусь дома. Зови попа». Я ему говорю: «Стрельбицкий, какие бумажные цветочки, какие рушнички… О чем ты?» А он: «И не уговаривай! И вообще — этот церковный запах, туман, бабки в шушунах… Дядьки с фанатичным блеском в глазах…» Короче — ни в какую. Ну я пошла к священнику и попросила покрестить его дома. А тот как услышал, что мой муж не может в церковь даже войти, отказался. «Нет, — говорит, — он же должен во время таинства читать Символ веры. Как же он сможет произнести: Верую во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, если он в нее не только не верует, но и не переносит ее на дух? Нет, раз он в церковь еще не может войти, то он пока недостоин святого крещения». И вот мне надо теперь найти такого священника, который бы вошел в мое положение и закрыл глаза на это обстоятельство. Чтобы попросту пришел и — р–раз — окрестил моего Стрельбицкого. А потом бы нас обвенчал…  
— Так где ж ты найдешь такого? — удивилась я.  
Но Анна сказала:  
— Весь православный мир переверну, а найду!  
И сверкнула глазами. И что — ведь нашла!.. Она прознала, что есть один такой очень образованный и прогрессивный священник, который ни на какие условности не смотрит, а относится ко всему очень терпимо и широко.  
У ее знакомых произошла трагедия.  
Сын — журналист — работал в какой-то суперлиберальной газете, очень престижной, богатой — и повесился. Ну не знаю. Может, помрачение на него нашло… А был он некрещеным. И мать была в отчаянье. Ни один священник его отпевать не хотел — как, самоубийца да еще некрещеный? А этот, про которого прослышала Анна, подумал, подумал — и согласился. Ничего, говорит, что некрещеный. Мы его заочно покрестим и заодно сразу же и отпоем. То есть он согласился покрестить мертвого и потом его, самоубийцу, отпеть!  
— Так может, раз он такой широкий, — говорила Анна, — он и Стрельбицкого дома покрестит? А Символ веры я за него скажу. А? Ну в Евангелии же есть случай, когда родственники приносят расслабленного и не могут по причине множества народа войти в дом, где находится Христос, и тогда взбираются на крышу, фактически проделывают в ней дыру и опускают сквозь него своего расслабленного — лишь бы только Христос его увидел и исцелил. Так и я. Мой Стрельбицкий — кто как не расслабленный? И вообще — гугнивый, глухой, слепорожденный, убогий, кровоточивый! Ты пойдешь со мной к этому батюшке договариваться, а? А то меня колотун бьет. Ну хотя бы просто рядом постой! Подруга ты или нет? Или что — мне просить этого священника, чтобы он покрестил Стребицкого, когда тот уже помрет?  
Удивительно, что Анна, выказывая решимость покрестить Стрельбицкого любой ценой — хоть мертвого, при этом еще и волновалась о том, чтобы это все было «метафизически чисто». Чтобы все было — по–настоящему. Не противоречило бы церковным канонам. И чтобы этот священник был не какой-нибудь там самосвят–самозванец.  
— Понимаешь, — вдруг сказала она, — все-таки обязательно надо туда пойти и удостовериться в метафизической чистоте! Никакой самодеятельности нам здесь не нужно.  
На следующий же день мы отправились к этому иерею, отцу Петру, по фамилии Лаврищев. Кое-что я уже о нем слышала от моего духовника отца Ерма. Отец Ерм очень интересовался всем новым, а этот отец Петр, судя по его рассказам, именно что вводил всякие новшества. Слыл он, вроде, за реформатора. Но в чем состояло это реформаторство, мой духовник не ведал.  
Даже просил меня уже несколько раз:  
— Вы же там рядом. Пойдите и посмотрите, что да как. А потом расскажете.  
Вот и пробил час выполнить просьбу моего духовника. Служил отец Петр в Рождественском монастыре, в центре Москвы.  
Вошли в церковь. Везде стульчики, табуреточки. Прихожане стоят цепочкой, держась за руки… Все, как один, крестятся и кланяются, также разом и опускаются на сидячие места. Все четко, дисциплинированно. Все свои. Нас сразу отметили как чужаков и спросили:  
— Вы откуда такие? К кому?  
Анна говорит:  
— Мы к отцу Петру Лаврищеву. По важному делу. Чрезвычайной важности.  
— А, — сказали, — раз по важному, тогда оставайтесь. А то мы проявляем бдительность, потому что мы здесь во вражеском стане. Кругом враги.  
— Да уж, — вздохнула Анна, — много развелось воинствующих атеистов….  
А ей говорят:  
— Да нет, атеисты — пусть себе будут, они нас не трогают, а наш противник — это твердолобое косное тупое Православие. Все ходят строем и в ногу. А у нас не так. У нас — личности. У нас — реформы. Дух дышит, где хочет. А не там, где церковное начальство приказывает. За это нас гонят. И мы не всех сюда пускаем. Могут быть провокации…  
— Мы не такие, — с достоинством ответила Анна, поправляя шляпку.  
Больше нас никто не трогал.  
После службы она подошла к отцу Петру, представилась, сказала о Стрельбицком, он приветливо закивал:  
— Как же, читали книги вашего мужа, знаем, знаем. Понятно, что не желает креститься в церкви. Она стала такая обрядовая, ритуальная. Очень много в ней ортодоксов. Он прав — дурновкусие, магическое отношение к таинствам. Ну что ж, я его покрещу.  
Анна была в восторге. Она так в этом и призналась:  
— Хотя я — человек сдержанный, нелицеприятный, но от вас я в полном восторге!  
Наговорила ему кучу комплиментов. Видно было, что он польщен.  
— А знаете, — вдруг сказал он, — у нас община интеллигентная, элитарная. Я бы хотел вас приобщить к ее жизни. Приходите сегодня к нам на агапу.  
— На что, на что? — переспросила Анна.  
— На агапу. Агапой назывались в Древней Церкви священные братские трапезы, совершавшиеся после литургии. Потом эта традиция отмерла, но мы находим ее прекрасной. Чин агапы, — пояснил он, — предполагает собрание церковных единомышленников, желающих восполнить до меры совершенства полученные ими евхаристические дары. Такая вечеря любви, которая приобретает у нас смысл восьмого таинства, восполняющего недостаток благодати… Она упоминается еще в послании апостола Иуды. После приобщения на ней мы вкушаем духовные просфоры — читаем друг другу стихи, рассказы, поем песни. Может быть, вы еще не все про нас поймете, но почувствуете дух. И мужа вашего возьмите. Он сразу успокоится — народ у нас вполне светский, высококультурный, наверняка он найдет среди наших прихожан каких-нибудь своих знакомых, почувствует себя в своей среде.  
Анна была в возбуждении:  
— Ах, именно эта «своя среда» может выйти ему боком. Он скажет: своя среда — брр, какая скука! Нет уж, Стрельбицкого оставим пока в стороне, а мы появимся на агапе с подругой!  
Честно говоря, отец Петр вовсе не пришел в восторг от такой замены. Он попытался возразить:  
— У нас агапы только для посвященных…  
— А она и есть самая посвященная! Она богословием увлекается. С монахами ведет диспуты. Она к старцам ездит. Она с игуменом Ермом в дружбе, известным иконописцем…  
И я поддакнула:  
— Отец Ерм очень интересуется вашей деятельностью.  
Услышав об отце Ерме, Лаврищев смирился. Окинул меня проницательным оценивающим взором, развел руками:  
— Ну раз уж она так к нам стремится…  
Когда мы вышли, Анна воскликнула:  
— Он просто очаровательный! И эти таинственные агапы… Это же то, что нам нужно! Пойдем на разведку и найдем, с какого конца запустить к отцу Петру моего Стрельбицкого.  
Пробил час, и отец Петр отворил перед нами дверь. Выглядел он очень представительно, если не импозантно: коротко подстриженная ухоженная бородка эспаньолкой, несколько седых прядей в черных кудрявых волосах, высокий крутой лоб, переходящий в небольшие аккуратные залысины, умный пронзительные глаза. Фигура плотная, основательная. Прекрасная осанка. Маленькие руки с розовыми ногтями… Жаль, только злые: верхняя фаланга большого пальца неправдоподобно отклоняется назад, — эта примета никогда меня не подводила, всегда оказывалась верна. А с другой стороны, может, это и суеверие — вся эта физиономистика, хиромантия… Одет он был в темно–голубой, почти синий шелковый подрясник, приходившийся удивительно как под стать.  
В пандан ему была убрана и комната, куда он нас препроводил. Посреди нее красовался довольно высокий овальный стол, покрытый зеленым бархатом и окруженный дюжиной стульев с высокими резными спинками. В углу напротив двери на ломберном столике возвышался золоченый херувим, держащий на поднятых руках часы, как бы возносящий их горе. В другом углу стояло вольтеровское кресло и замысловатый торшер на мраморной подставке под огромным абажуром. Почти вплотную к нему был придвинут старинный диван с высокой спинкой, увенчанный полочкой, на которой стояла высокая свеча в подсвечнике, наверное, отсылающая посвященных к Евангельским словам Христа о свече, которую ставят высоко и которая светит всем в доме. На одной из стен висели три большие, старинные, явно церковные иконы. Окна были драпированы тяжелым велюром под цвет скатерти, и на все это великолепие глядела сверху массивная бронзовая люстра.  
— Тут все просто, но все назидает. Ничего не подавляет, но все концентрирует, — пояснил отец Петр.  
В комнату неслышно вошел высокий нескладный человек, показавшийся мне похожим на Урфина Джуса, каким его изображал художник в детской книге, но только немного постаревшего. Черные сросшиеся на переносице брови, пронзительные зеленые глаза, черные волосы вокруг аккуратной, хотя и обширной лысины.  
— Павел Петрович Векселев, мой ближайший помощник, правая рука.  
Нас усадили на диван и ушли, потому что начался приток гостей.  
— Богато, — с сожалением сказала Анна. У нее было убеждение, что все, связанное с церковью, должно быть бедным, утлым, незаметным, в земном отношении ничтожным.  
— Чем богаты, тем и рады, — неожиданно откликнулся отец Петр из прихожей и вошел в комнату. — Знаете, я ведь прекрасно понимаю, почему вашему мужу неприятно иметь дело с церковниками: среди православных очень много таких твердолобых жестоковыйных людей. Они отрицают науку, культуру. Вот они и ищут себе присюсюкивающих старцев, пророков, которые не могут одолеть даже русский синтаксис. Юродивых каких-то выискивают, которые подбирают на улицах всякую дрянь, — им видится в этом символический пророческий смысл. К каким-то якобы блаженным прозорливым Любушкам и Пашенькам устремляются — узнать судьбу, погадать. Чистое язычество! А у нас — не так! У нас все осмысленно. Подход вдумчивый. Мы апеллируем к разуму человека. К его пониманию. У нас — единственный храм, где служба ведется по–русски. У нас — единственная община, где перед крещеньем люди проходят катехизацию, курс специального просвещения и посвящения. Для нас — те, которые были крещены и посещают другие храмы, — все еще не являются полными членами Церкви, потому что они не прошли через катехизацию и посвящение. Для нас и Патриарх — все еще не полный член Церкви.  
Анна вдруг заерзала, хотела что-то спросила, но отец Петр продолжал:  
— А кроме того — у нас община харизматическая. Каждый получает в ней свои благодатные дары. Если ты пророк — пророчествуй, если ты учитель — учительствуй. У нас каждый член — и пророк, и учитель, и священник. Потому что наша Церковь — это единственная истинная Церковь Духа Святого, а не Церковь предписаний и запрещений. Вы как люди свободные и критически мыслящие со временем это поймете. Смотрящий да увидит. Видящий да уразумеет. Хотелось бы признать вас членами нашей общины.  
— А у вас вообще-то как, Православная Церковь или нет, какая-то, может, другая? — вдруг с сомнением спросила Анна.  
— Разумеется. Наша церковь и есть единая истинная Православная Церковь. Община — ее олицетворение. И мы, между прочим, существуем в лоне Московской Патриархии.  
Голос у него был спокойный, мягкий, умиротворяющий.  
— А что для этого нужно, чтобы войти в общину? — спросила Анна.  
— Написать заявление. Ну и конечно, необходимо войти с нами в духовную близость.  
— Заявление куда? Кому? — заволновалась она.  
— Нам, конечно. Напишите, что вы просите принять вас в члены нашей общины…  
— Заявление, чтобы в церковь ходить! Что-то на секту похоже, — шепнула мне Анна, когда отец Петр вышел. — А интересно, если мы здесь все посмотрим, а потом не вступим, нас не убьют? Стрельбицкого шантажировать не будут?  
Отец Петр вернулся в комнату, пожимая плечами:  
— Какой народ невнимательный! Говоришь им одно, они слышат абсолютно другое. В прошлый раз Павел Петрович Векселев открывал входные двери, предварительно накинув цепочку и через нее оглядывая гостей. Это хоть в какой-то мере предохраняло нас от незваных. И вот пришла какая-то женщина, явно «не из числа»… Хотя и наша, общинная. Я вышел к ней, благословляю, спрашиваю: «Вы из какой десятки?» Она говорит: «Кажется, из пятнадцатой». А я ей: «Голубушка, а пятнадцатая не здесь, а в другом месте. А мы — десятка номер один». Да, много званых, но мало избранных…  
— Какая–какая десятка? — удивилась Анна.  
— Номер один. У нас община разбита на десятки — для легкости административного управления. Во главе каждой стоит свой общинный пресвитер. А здесь у нас — десятка номер первая, которую возглавляю я. И потом она — эта из пятнадцатой десятки — пустила слух, что перед ее носом захлопнули дверь и что я был почему-то в лиловом фраке, а Павел Петрович называл меня то ли «мастер», то ли «маэстро»… Про нас много небылиц рассказывают. Так что вы уж сами понимаете — как говорится, ешь пирог с грибами, держи язык…  
— За зубами! — угадала Анна. — Но заявление о вступлении к вам что-то уж очень меня смущает.  
— Так было до революции, — пожал плечами отец Петр, — все были прикреплены к определенному приходу, существовали списки…  
Меж тем стали пребывать члены десятки. Прежде всего — семейная пара журналистов. Он — длинный, нескладный, тонкая, бесконечная, готовая сломаться шея, бесцветные глаза–губы–волосы, дохляк; она — низенькая, румяненькая, плотненькая, испускающая флюиды уверенности и какой-то основательности своего существования.  
— Журналисты. Муж и жена.  
Они так и представились нам с Анной.  
Потом появился какой-то очень активный и очень сильно заикающийся молодой человек по имени Гриша, который сразу стал осаждать отца Петра вопросами:  
— Что у нас сегодня на повестке? Будет ли доклад о ситуации? Есть ли план реагирования на инсинуации?  
Все эти слова давались ему с великим трудом, а на «ситуации» и «инсинуациях» он и вовсе забуксовал… Судя по всему, был он человеком без определенного рода занятий, так — профессиональным лаврищевцем.  
— Сильное-то какое заикание, — сочувственно кивнула на него вошедшая следом пожилая женщина.  
И тут же отрекомендовала себя нам:  
— Зоя Олеговна, заслуженный врач–психиатр на пенсии, эксперт высшей категории.  
Отец Петр терпеливо дождался, когда Гриша наконец расправится со словом «ситуация», и ответил, зябко потирая ладони:  
— Разумеется, о ситуации будет доложено и будут поставлены на обсуждение необходимые меры для ее устранения. Но четкой повестки у нас на сегодня нет. Будет собрание, будет трапеза любви, будет прием нового члена, будет нечто вроде экстренного доклада и прения.  
Векселев меж тем поставил на стол огромный золоченый потир — церковную чашу, в которой содержатся хлеб и вино, пресуществляемые за Евхаристией в Тело и Кровь Христову. В чашу он влил две бутылки красного сухого вина и принес серебряный подносик с большой девятичинной просфорой — такой, на которой служат литургию. Возле нее на подносике лежало и копие — острый ножичек, которым она должна быть раздроблена. На противоположном конце стола появился другой серебряный поднос с горкой простых белых просфор, а кроме того он поставил по обе стороны стола два подсвечника с восковыми свечами.  
— Письмо надо написать. Коллективное, — сказала журналистка. — Да, коллективное и открытое. Побольше знаменитостей. Надо постоянно будоражить общественное мнение. Будировать и будировать. Гласность. Артиста Быкова беру на себя, есть у меня кое–какие выходы на него.  
Она возбужденно поглядывала в нашу сторону, словно пытаясь немедленно вовлечь нас в живую жизнь общины.  
— Никулину можно дать, — присоединился к журналистке–жене журналист–муж. — Хороший мужик. Прийти к нему якобы за интервью, объяснить ситуацию, сказать: вот Быков уже подписал. Подпишет! Да и интервью заодно. Чтоб — без обмана. Чтоб — по–честному.  
— Дельно, — согласился отец Петр.  
— Конференцию бы устроить, корреспондентов пригласить, — вставил Урфин Джус. — Надо, чтобы прогремело.  
— Прогремит, прогремит, — пообещал отец Петр  
— Ухнет и разорвется, — в восторге подхватил Гриша. — Пойдут клочки по закоулочкам.  
Все облегченно вздохнули, как только ему удалось закончить фразу: многословие в его случае томило и даже ранило.  
— А что ваш муж — может, он подпишет? — мягко спросил Анну отец Пётр. — Стрельбицкий — это имя.  
— Стрельбицкий? Это какой? Неужели Май? — вскинулась журналистка.  
— Стрельбицкий — это марка, — кивнула Зоя Олеговна, врач–психитатр.  
Словом, что-то здесь готовилось, помимо вечери любви, что-то происходило, какая-то борьба, какая-то акция, а мы с Анной пока еще ничего не поняли.  
— Вы не знаете, нас гонят, нас притесняют. Мы восстанавливали Рождественский монастырь, а теперь его решили отдать другим! — разгадав наше недоумение, пыталась нам что-то объяснить Зоя Олеговна.  
— Говорят, какого-то махрового ортодокса сюда назначили из Тьмутаракани, красного попа, — сжимая плотненький кулачок, обиженно проговорила журналистка.  
— Но мы не сдадимся! — крикнул Гриша и заходил ходуном от речевых усилий. — Мы будем бороться! Мы будем реагировать релевантно! Мы ему такой прием окажем, что лучше бы ему не родиться!  
— Вот, общественное мнение возбуждаем. Эти ведь закосневшие, а мы хотим реформ, за это на нас и гонения, — присоединился журналист.  
— Похоже, мы попали к ним на летучку, — шепнула мне Анна. — А теперь они хотят отправить нас на театр военных действий. Во главе со Стрельбицким.  
— Вы люди умные, интеллигентные, надеюсь, все станет вам понятно по ходу дела, — спокойно заметил нам отец Петр.  
Меж тем гости пребывали. На сей раз двери распахнулись, и в них показался главный редактор Грушин. Обычно надменный, чванливый, сейчас он держался просительно и растеряно:  
— Так боялся опоздать на столь важное священнодействие!  
— Поздравляю вас с предстоящим вступлением в нашу общину, — поприветствовал его отец Петр. — Вы сегодня причастились у нас святых Христовых Тайн, а сейчас вы примете участие в восполняющей таинство трапезе любви. И вот — вы один из нас.  
И тут Грушин увидел меня и Анну. Изумление изобразилось на его холеном лице:  
— Как, и вы с нами? И Стрельбицкий! Ну вот сюрприз так сюрприз!  
— Мы сами по себе, — дернулась вдруг Анна, поджав губки. — Просто сидим и смотрим. А что вам Стрельбицкий? Он все равно никогда не подписывает коллективных писем!  
— Письмо может быть индивидуальным, — пожал плечами Векселев.  
— Вот, прошу принять от меня заявление, — сказал Грушин, доставая из дипломата большой белый лист. — Прошу присоединить меня к полным членам святой Христовой Церкви в лоне Рождественского братства, состоящего под водительством иерея Петра Лаврищева. Так? Подпись. Дата. А что — и сам Михал Михалыч будет? Культурнейший человек.  
— Один из основателей нашего братства, — кивнул отец Петр. — Только что прилетел из Бостона и сразу к нам. Академик Рачковский, слышали? — обратился он к нам с Анной.  
— Здесь собирается цвет нашей интеллигенции, — вставила журналистка. — Самая, так сказать, элита.  
— Духовная элита, — поправила ее врач–психиатр. — Элита элит. Ну что мы без нашей духовности, так ведь? А над чем сейчас работает Стрельбицкий, можно поинтересоваться?  
— Стрельбицкий сейчас не работает ни над чем, — сухо ответила Анна.  
Ей уже все здесь не очень-то нравилось, она терпеть не могла возбужденного духа общественной активности, она ерзала, ей хотелось уйти, но все же ее удерживала здесь надежда, что худо–бедно, а Стрельбицкого этот начальник общины все-таки покрестит.  
— А что ж он делает? — спросил Гриша. — Как же он себя позиционирует?  
— Да никак. Ест, спит, дышит, — отрезала Анна.  
— Расскажите же о вашей общине, отец Петр, — попросила я, испытывая некоторую неловкость за раздраженный тон Анны, а кроме того — желая удовлетворить любопытство своего духовника.  
— Весь наш приход, — с готовностью откликнулся отец Петр, — разбит на десятки. Во главе каждой «десятки» стоит пресвитер–харизматик. То есть канонически рукоположенный пресвитер у нас только один, ваш покорный слуга, но таких десяток у нас уже — сорок две, есть и в других епархиях открытые нами филиалы нашей общины… Понимаете, мы исходим из того, что община — это уже не часть целого, а сама являет собою это церковное целое, то есть она представляет собой уже не отдельный приход, а воистину Поместную Церковь во всей ее полноте. Исходя из этого, мы, уповая на харизматичность истинных рукоположений, позволяем себе как предстоятелю этой Церкви совершать хиротонию и поставлять своих пресвитеров. Ибо в любом случае ее единственным Главой является Сам Бог во Христе через дар и дары Святого Духа. А Дух дышит, где хочет, — мягко завершил он.  
— Дух дышит, где хочет, — затаив дыханье, повторила врач–психиатр.  
— Дух дышит, где хочет, — жестко произнесла журналистка и вдруг расплакалась.  
— Дух дышит, где хочет, — торжественно возвестил Грушин, — Отец Петр, — это потрясающе! Это переворот в богословии! То есть вы и есть единственный епископ нашей Церкви!  
— Релевантно! — выкрикнул Гриша.  
— Наверное, это все-таки пятидесятники, — с сожалением прошептала мне на ухо Анна.  
— Разумеется, внутри общины существует высокая морально–этическая дисциплина, постоянное обучение более слабых братьев по вере, система духовного образования, наконец, агапы — вечери любви. Наши ячейки множатся, и в скорости их сеть раскинется по всей России и даже зарубежью. Разумеется, все они включены в состав нашей единой Рождественской общины, которая интегрируется во Вселенскую Церковь. И кто знает, может быть, вскоре наша община вытеснит с исторической арены Русскую Православную Церковь.  
— А теперь нас хотят стереть с лица земли! Раздавить! — закричал Гриша. Он так мучительно выговаривал последнее слово, что казалось, от этого страдало все его тщедушное тело.  
— Это у него невроз, — кивнула своим мыслям Зоя Олеговна.  
— Поход реакционных сил, — добавила журналистка.  
— Действующих по указке КГБ, — пояснил журналист.  
— Без них не обошлось, — понимающе кивнул Грушин.  
Он вдруг почувствовал себя в центре внимания — действительно, все глядели теперь на него. Неожиданно он разволновался, машинально взял с подноса одну из небольших просфорок и стал грызть ее, как печенье.  
— Так это ж на агапу, — вскричала врач–психиатр. — Это ж пища духовная…  
— Ничего, — снисходительно отметил отец Петр, — не человек для агапы, а агапа для человека.  
— Мы рассчитываем на вас, — сказал ему Урфин Джус.  
— Понимаю, берусь опубликовать в журнале проблемную статью.  
— Будем давить прессом прессы, — ухмыльнулся журналист.  
— Четвертая власть, — пояснила журналистка.  
— Хорошо б зарубежье откликнулось, — сказал Урфин.  
— Это будет такой резонанс, — кивнула Зоя Олеговна и обратилась к нам: — А вы что скажете?  
— Ах, так вы все в борьбе, гонят вас, — понимающе кивнула Анна. — Но как это все-таки не вовремя!  
Наконец-то появился академик Рачковский. Дружно ухнув, все выбежали из комнаты его встречать.  
— Пока шел к вам, братья и сестры, — начал он с порога, — у меня вертелась все мандельштамовская строка «Я буду метаться по табору улицы темной». Вам не приходило в голову, что по латыни Фавор читается именно как «табор»: То есть греческая фита, как мы ее читаем по Рэхлину, дает латинскую тэту в прочтении Эразма. У нас, выходит, фита, у них — тета. Теперь смотрите далее. У нас — вита, у них — бета. У нас — Фавор, у них — Табор.  
— Так это что — даже табор темной улицы может быть преображен в Фавор? — спросил Грушин.  
— Хотите с морозца чайку? — предложила Зоя Олеговна.  
— Чайку, чайку, — кивнул отец Петр.  
Она принесла Рачковскому чашку чая, положила в розетку варенье.  
Все вдруг замолчали и дружно наблюдали, как Рачковский дует на кипяток, как накладывает варенье в чай. Как отпивает, морщится, приговаривает:  
— Горячо, горячо.  
— Михаил Михайлович, — нарушил паузу отец Петр. — Позвольте довести до вашего сведения некоторые подробности. С одной стороны, сейчас повсеместно, буквально во всех храмах, развилась новая ересь: послушание иерархии. То есть как иерархия скажет, так и поступай, так и служи. И этой ереси надо как-то противостоять. А с другой стороны, напомню вам, что наша община, состоящая из цвета московской интеллигенции, с самого начала своего существования находилась под пристальным вниманием органов и косыми взглядами священноначалия.  
— Разумеется, — подтвердил Рачковский, — священноначалие поглядывало на наши реформаторские начинания подозрительно и, как вы выразились, косо. Как это у Овидия: ан нэсцис лонгас рэгибус эссе манус…  
Все уважительно закивали и многозначительно переглянулись.  
— Я по–латински ни бум–бум, — успела шепнуть мне Анна. — Но что-то у них явно не так. Еретики, может быть. Для Стрельбицкого все пропало. Не поведу ж я его крестить к раскольникам!  
— Где больше двух, там говорят вслух, — укорила нас Зоя Олеговна. — Это признак невроза — шептаться в обществе.  
— От косых взглядов они перешли к погрому, — выкрикнула в сердцах журналистка.  
— Они у нас отбирают Рождественский храм, церковный дом, разгоняют общину, мы вот–вот окажемся на улице, — горячо продолжал журналист.  
— Как, на улице, у нас же два храма, что, и Введенский храм тоже отбирают? — встрепенулся Рачковский.  
— Михал Михалыч, простота, — печально покачала головой Зоя Олеговна. — Ну причем здесь Введенский храм?  
— Ты что-нибудь понимаешь? — спросила меня на ухо Анна, тревожно поглядывая на Зою Олеговну. — Почему у них два храма? Говорю тебе — это секта.  
— Так он принадлежит общине или нет? — спросил Рачковский, перекладывая в чашку остатки варенья. Большая густая капля, не удержавшись на краю ложки, шлепнулась на бархатную скатерть.  
Рачковский чуть съежился и прикрыл ее блюдцем.  
— Принадлежит, — ответил Урфин, — но, во–первых, тут дело принципа: раз они один храм отбирают, в любой момент отберут и другой…  
— У вас вареньице капнуло, — заметила Рачковскому Зоя Олеговна.  
— Где? — удивился он, оглядывая скатерть вокруг блюдца.  
— А вы блюдце на него поставили, — не сдавалась она.  
— Ты мне скажи, просить мне отца Петра покрестить Стрельбицкого или не связываться? А то втянут они его в свою борьбу, — снова боязливо шепнула мне Анна.  
Я пожала плечами.  
— Ладно, — вздохнула она, — что делать — буду тайно молиться отцу Киприану, чтобы он подал мне знак.  
— Нас гонят, — простонала журналистка. — При чем здесь Введенский храм?  
— Так он остается нам? — с облегчением вздохнул Рачковский, вытирая рот.  
— Как вы не понимаете, — с досадой воскликнул Урфин. — Мы московскому духовенству — темному, необразованному, консервативному, как бельмо в глазу. Их раздражает, что у нас своя община, что мы все реформируем, что у нас свое богослужение, русский язык, агапы и, между прочим, и то, что вы, Михал Михалыч, у нас проповедуете и читаете лекции!  
— Что ж, — заключил Рачковский — тут надо бороться. Мое содействие.  
И он приложил обе руки к сердцу.  
В конце концов чашка с розеткой были унесены, пятно оттерто. Урфин зажег семь восковых свечей.  
— Формально вы еще, конечно, не члены общины, вы пока что не просвещены, не приобщены, но по закону любви, чтобы вы не остались обделенными на нашем празднике, вы тоже можете участвовать в нашей священной агапе, — обратился к нам отец Петр, — Милости просим.  
— Большое спасибо за ваше великодушное предложение, но мы пока не готовы, — отозвалась Анна, которой отец Киприан, по–видимому, еще не подал знака.  
— Но вам оказана такая честь, как можно, — покачала головой Зоя Олеговна.  
Отец Петр медленно и торжественно влил вино в золотой потир. Все поднялись с места и пропели «Отче наш», после чего опять сели, сложив на коленях руки.  
Стало так тихо, что часы в углу мгновенно наполнили комнату своим однообразным мерным звуком. Слышно было, как трещит горящий фитиль, оплывая воском, да шуршат за окном машины по мокрому асфальту осени.  
— Господи Иисусе Христе, — начал отец Петр, держа на весу чашу и воздевая ее горе, — взгляни на нас, здесь сошедшихся на вечер воспоминания о Тебя, на трапезу любви, сделай нас достойными Твоего присутствия и причастия, пошли нам Духа Твоего Святого, — да осенит, да просветит, да подаст нам Свои святые дары в восполнение церковных таинств, да удостоит Своей харизмы, да причислит нас к царственному священству Небесной Церкви, да тайноводствует нами в деле познания дел и путей Твоих! Христос посреди нас!  
— И есть, и будет! — глухо подхватил Урфин  
— И есть, и будет, — нестройно зазвучали голоса.  
— И есть, и будет — с расстановкой произнес Рачковский.  
Отец Петр поднес чашу к губам и отпил, закрыв глаза. Когда он их наконец открыл, в них был какой-то новый блеск. Молча он вручил чашу Урфину. Тот что-то внутренне про себя произнес, перебирая губами, и благоговейно припал к чаше. Потом передал ее Зое Олеговне, и так — по кругу. Все сидели торжественные, напряженные, притихшие. Словно это действительно было подлинное церковное таинство… Наконец, чаша настигла Анну. Она взглянула на меня беспомощно, я поняла, что отец Киприан так и не открыл, как ей подобает действовать, так и не подал весть… Она подержала чашу перед собой, потом решительно тряхнула головой и спросила почти отчаянно:  
— А как у вас дела с женским священством? Дозволено ли оно? Мне, например, можно когда-нибудь стать священницей или же нет?  
— Ах, вот что вас волнует, о чем вы думаете перед чашей! — улыбнулся Лаврищев. — Хотя традиционная Церковь поставила на этом крест, мы полагаем, что это возможно. Во всяком случае, никаких догматических препятствий для этого нет. И наша община старательно вынашивает эту идею, полагая, что в скором времени она может быть воплощена. Вы хотите стать священницей? Так приобщитесь и станьте ей! Вы удовлетворены?  
Анна торжественно поставила чашу и резко поднялась со стула:  
— Благодарю вас за то, что вы были с нами столь откровенны и ответили столь искренно. Да, я удовлетворена. Мне все абсолютно ясно!  
И она, как и благословлял ее когда-то отец Киприан, ринулась вон из комнаты. Я помчалась за ней.  
— Что это с ними? — послышалось нам вслед.  
— Это их благодать гонит отсюда. Невроз, — заключила врач–психиатр.  
— Может, и невроз, — вздохнула Анна, когда мы выкатились на улицу, — но я им не могу доверить Стрельбицкого!  
Вскоре они добыли ее телефон, звонили — и Грушин, и журналисты, и сам Урфин Джус. Просили что-нибудь новенькое из Стрельбикого — опубликовать, почитать, дать интервью, справлялись о ее здоровье, предлагали на подпись какие-то письма, звали на очередную агапу, приглашали Стрельбицкого выступить перед собранием общины, передавали поклон и благословение от отца Петра, но Анна отвечала им холодно и непреклонно:  
— Новенького ничего нет, здоровье нормальное, коллективки не подписываем, Стрельбицкий сейчас не выступает, отцу Петру — ответный же поклон.  
В конце концов, она сказала мне:  
— Отвези-ка ты его к тому священнику, к игумену Ерму, который обещал ему когда-то беса показать. Все несчастья же с этого начались! Стрельбицкому он тогда понравился, говорит — интеллигентный, тонкий, большой церковный чин, а совсем не похож на попа…  
И Стрельбицкий согласился. Во–первых, он любил путешествовать на машине, а во–вторых, это уж как-то очень романтично — суровый скит, занесенный снегом, кромешная тьма ноября, богослужения при свечах, монастырская трапеза, ночлег в келье, экзотика. Сказал — поедем, только на один день — переночуем и — назад.  
Ехали долго, трудно — гололед, метель. Стрельбицкий без конца перечислял свои претензии к Церкви: вот он читает прессу, а там то епископ окажется голубым, то настоятель проворуется, то монах какой-нибудь сопьется. А сотрудничество церковников с КГБ?  
Снег залеплял стекло, и дворники не справлялись с ним, расчищая лишь узкое оконце. Припав к нему и судорожно вцепившись в руль, я все-таки не выдержала, сказала Стрельбицкому:  
— Так Церковь их сама и осуждает за это! А если они покаются, то простит. Простит совершенно. И если у вас такой строгий церковный взгляд на человеческие грехи, то приходите же вы со своей святостью, со своей чистотой, со своей любовью! Со своей аскезой, со своей милостью, со своей мудростью, и — вокруг изменится все! Может, этот епископ тогда пребудет в целомудрии, священник — в нестяжательности и монах — в трезвости. Тысячи спасутся вокруг вас.  
Он хмыкнул.  
Добрались к самому концу всенощной. Отец Ерм пригласил нас на скудную трапезу, но Стрельбицкому здесь уже все понравилось — и резной деревянный стол, и самовар, и скитский серый хлеб.  
— Я была у Лаврищева, — шепнула я походя отцу Ерму. — У него все очень просвещенные и высококультурные. Во–первых, они молятся «о хорошей погоде», вместо «благорастворения воздухов», а во–вторых, я узнала, что могу стать священницей, если запишусь в члены его десятки.  
Кажется, он ничего не понял. Сделал такие большие, просто огромные глаза.  
— Я интересуюсь верой, — сказал ему Стрельбицкий, — и сам верую, но в меру. То есть в гору, которая может ввергнуться в море, если ее об этом попросят с верой, — никак не могу поверить, простите за тавтологию. Ну я вроде как Иван Карамазов. Он тоже в горе сомневался. Может, это какие-то фигуральные горы?  
Анна встряла в разговор и пристыдила Стрельбицкого:  
— Какие еще фигуральные, Май, что ты такое несешь? А Чермное море, которое расступилось, чтобы пропустить Моисея и снова сошлось, чтобы поглотить фараона? А Иисус Навин, остановивший солнце. А Петр, ходящий по водам?  
Стрельбицкий поморщился:  
— Это я знаю, ты сама мне рассказывала, — так вот: в такие чудеса я не верю.  
— А во что вы верите? — серьезно спросил отец Ерм.  
— Верю, что мертвые могут подавать знаки из загробного мира, — моей жене один покойный старец без конца дает какие-то указания с того света. Спросите у нее. Верю, что мысли могут передаваться на расстоянии: я вот сам хотел попасть в какой-нибудь такой тихий заброшенный уголок, не тронутый цивилизацией, и вот меня тут же под белы руки сюда и привезли. Верю, что много есть таинственного, необъяснимого в этом мире. Верю, что есть высший разум, который всем управляет. Но в такие материальные дива — нет, не могу поверить.  
— Ну прямо как иудеи, которые просили у Христа знамения с неба, — опять, горячась, встряла Анна. — Говорили: дай нам знамение с неба, тогда уверуем, что Ты — Сын Божий.  
— Да, — вскричал Стрельбицкий. — Именно так. Я хочу знамения с неба! Я хочу, чтобы гора на моих глазах сдвинулась и пошла. Чтобы море прямо передо мной расступилось. Чтобы солнце остановилось на небе.  
— И тогда уверуете в Господа? — спросил отец Ерм, точно так же, как в прошлый раз.  
— Уверую! — твердо произнес Стрельбицкий. — Тогда уж точно уверую.  
— И покреститесь? — снова спросил отец Ерм.  
— И покрещусь. Все сделаю, как подобает. Ничто меня не остановит.  
И отец Ерм сказал:  
— Ну, теперь ждите!  
И он стал молиться за Стрельбицкого, чтобы Господь явил ему что-то в этом роде. Чтобы Господь снизошел к его немощи. Потому что ему было жалко, что эта душа может погибнуть из-за своего упрямства. Ну хочет он луну с неба, так дай ее ему, Господи, во славу Твою!  
И что вы думаете? Господь услышал молитву игумена Ерма и через каких-нибудь два года исполнил то, о чем он Его просил. Летел Стрельбицкий в Гамбург по литературным делам. Было это бурным ноябрьским вечером, и облака клубились возле иллюминатора — багровые, оранжевые, ярко желтые и черные, тревожные черные облака: безумные тучи, через которые пробивалась буря, горела гроза, шел небесный бой. И внезапное волнение передалось Стрельбицкому. Он почувствовал, что и в нем идет битва, и в нем клубится чернота, горит смятенный огонь, ветер задувает свечу. И так эта картина за самолетным окном показалось сродной его душе, что решил он оставить ее себе навсегда. Он вытащил фотоаппарат и стал щелкать, щелкать: и так, и эдак, и вдоль, и поперек. И, отсняв пленку, отдал ее прямо тут же в Гамбурге проявлять и печатать. А сам свалился с безумной температурой, и дела его были так плохи, что пришлось срочно вызывать в Гамбург Анну. Когда она приехала, его уже перевезли в больницу. Какой-то острый воспалительный процесс… И вот почему-то, лежа в полубреду, он сразу попросил ее забрать из проявки снимки. А она все медлила, все не могла их забрать, потому что сидела возле него весь день, и лишь на ночь ее сменяла сиделка. А он спрашивал каждый раз:  
— Ты забрала фотографии?  
Наконец она ответила почти с раздражением:  
— Какие фотографии? О чем ты? Подумай о себе!  
Но все-таки забрала. Отдала их ему, даже не взглянув. И он сразу стал искать среди них свои воюющие облака. И, найдя, ахнул. Внизу все было черным–черно, но рваная тьма постепенно расходилась, и из нее появлялись кипящие и смятенные багровые, оранжевые, желтые клубящиеся тучи, сулящие бурю и великие потрясения. Но дело было даже не в этом: из них явственно выступала фигура в белом хитоне, спадавшем вольными складками. Именно она и рассекала кромешную тьму, готовую все поглотить. Именно она уже вела за собой эту мятущуюся охру, золото, воинственный пурпур. Было видно уже округленное плечо и широкий рукав, и даже тонкое запястье, и этот единственный, угадываемый, характерный шаг, принадлежащий Христовой поступи. И хотя лицо было сокрыто в облаках, но все Тело было уже явлено, Оно было одушевлено, Оно пребывало в движении. Оно все было обращено сюда, к Стрельбицкому, к нам. От Него исходила всепобеждающая Сила и Власть: казалось, то Сам Господь обходил Свое Царство и, желая спасти Свое создание, из самой бури являл Себя смущенному маловеру, дабы тот «не был неверен, но верен».  
Потрясенный Стрельбицкий сказал Анне:  
— Покрести меня. Я готов. Жалко, времени уже почти нет!  
— Ты не умрешь! — закричала она.  
Но он твердо повторил:  
— Сделай со мной все, как подобает. Как должно. Как это делается в церкви. И пусть я буду Андрей.  
Тем же вечером она достала в греческом храме крещенской воды и трижды покропила ею мужа, торжественно и отчужденно произнося над ним крещальную формулу.  
Через три дня он умер, новокрещеный Андрей.  
Его тело Анна перевезла в Москву. На отпевании в церковной толпе я увидела Урфина Джуса и Грушина. Грушин протиснулся ко мне и сказал, делая плаксивое лицо:  
— Жаль, что он так и не успел приложиться к нашей общине!  
Анна потом размножила эти фотографии, и они разлетелись по монахам и благочестивым мирянам. Одну из них я увидела совсем недавно в Подворье Троице–Сергиевой Лавры. Мы разговаривали с наместником, и тут, держа благоговейно на ладони снимок Стрельбицкого, вошел потрясенный молодой иеромонах, чтобы показать нам Живого Бога.

**Скажите этой лисице, Ироду**

Некогда весьма долгое время моим духовным отцом был игумен Ерм, иконописец. Все вызывало в нем мое благоговение: и его целомудренная подвижническая жизнь, и его внутренняя крепость и цельность — без всяких там невротических двоящихся мыслей и расколотости воли, и его вдохновенный вид, и его безупречный вкус… Но может быть, более всего — его дерзновенное служение Христу, его готовность к подвигам: какая-то ослепительная грандиозность была всегда в его замыслах… Вот и своих духовных детей он воспитывал в этой готовности: мы вечно что-то преодолевали, бегали от мира, сражались с искушениями, пытались «отвергнуться себя» и совершить нечто, превосходящее человеческую норму. И мне это было очень по душе.  
Потому что я, как и Алеша Карамазов, тоже не могла согласиться с тем, как можно евангельские слова Христа о том, чтобы раздать все, взять свой крест и следовать за Ним, понимать исключительно как указание посещать воскресную обедню и ставить перед распятием трехрублевую свечку. Нет, раздать все — значит не оставить для себя ничего, взять крест — значит страдать, и задыхаться, и изнемогать, а следовать за Ним — значит полностью отдаться в Его милосердные руки.  
— Учтите, — говорил игумен своим ученикам, — в эти лукавые времена от Христа можно невольно отречься — так, между делом. Даже и не заметить этого. Важен непрестанный подвиг исповедничества.  
На меня это произвело сильнейшее впечатление. И однажды, когда журнальный редактор прочитал мои стихи и спросил с ухмыляющимся, каким-то блудливым выражением лица: «И ты что, правда, веришь?», я ответила совсем не в тон его глумливой интонации, — серьезно и даже торжественно: «Верую и исповедую!» И при этом встала со стула.  
И вот отец Ерм давал мне всякие трудноподъемные духовные задания. Даже то, что наказал мне приезжать к нему на исповедь в Лавру первой электричкой. Надо было выйти из дома часа в три ночи, доковылять до вокзала и к пяти часам утра — сквозь ледяную пургу — добраться до церкви, где уже поджидал меня мой духовник. И так – дважды в неделю. То он благословлял меня причащаться каждую великопостную литургию, и мы постились, как постятся отшельники, то молились до изнурения плоти…  
— Причащайтесь, — говорил он, — только обязательно каждый раз тщательно готовьте себя к этому, чтобы это не превратилось у вас в привычку!  
Много было у него ко мне практически невозможных поручений. То он собирался открыть скит на Мезени и посылал меня туда на разведку, то давал послушание выучить чуть ли не в одночасье древнегреческий. То поручил мне достать подложный паспорт кавказскому подвижнику. То дал мне задание расследовать… убийство Александра Меня и «отыскать убийц».  
Потому что я сказала ему:  
— Милиция совсем ничего не знает — даже к нам домой приходил следователь и все спрашивал, спрашивал, а ведь мы видели отца Александра лишь однажды… Все их версии никуда не годятся, там концы с концами не сходятся, убийцу ищут явно не там.  
Вот отец Ерм и сказал весьма серьезно:  
— Ну вот вы и расследуйте, а потом расскажете мне.  
Странные мысли зашевелились в моей голове, во всяком случае, я подумала:  
— Боже, за кого же он принимает меня?  
И даже еще хлеще:  
— За кого же я себя перед ним выдаю!  
И долго я потом еще читала всякие мемуары об отце Александре, вникала в его книги, собирала свидетельства, знакомилась с меневцами, перебирала возможные мотивы, по которым можно было его убить, словом, действительно получалось, что «искала убийц».  
А однажды наш суровый игумен послал меня «выбрасывать на помойку, а еще лучше — в заросший овраг, в пруд, чтоб никто не нашел», привезенных ему с Украины расписных глиняных униатских ангелов, «все это еретическое католичество, весь этот лисий иезуитский дух»…  
И мой муж даже язвительно заметил, что если бы отец Ерм благословил меня принять монашество, я бы тут же и постриглась, не рассуждая.  
Как только он чувствовал, что мир начинает ловить его, втягивая в свои будни, навязывая какие-то привычки, он тут же бросал насиженное место и перебирался в другой монастырь, — скорее всего это было искушение. Потому что он сам же меня учил, что каждое испытание надо проходить насквозь.  
Так он оставил Лавру и переехал, правда, испросив на то благословения старца Игнатия, в Свято–Троицкий монастырь. Но потом и там ему стало тесно, он оброс бытом и, как он сам жаловался, закоснел. И тогда добился, чтобы ему отдали разрушенный Преображенский монастырь в семи километрах от его обители. Он обещал, что устроит там иконописный скит со строгим монастырским уставом и будет обучать молодых иноков тонкостям «богословия в красках».  
Этот разрушенный монастырь, куда отбыл игумен Ерм со своими учениками, мыслился как Свято–Троицкий иконописный скит и подчинялся монастырскому наместнику архимандриту Нафанаилу. В ледяных сумерках чернел изуродованный Преображенский храм с развороченным крыльцом, кусок монастырской стены да облупившийся раздолбанный бывший братский корпус, в котором после закрытия монастыря располагалось что-то вроде общежития работников свинофермы. Свиноферма сгорела еще лет пятнадцать назад, работнички поразъехались, а братский корпус так и стоял с разбитыми окнами да вывороченными дверями, свидетельствуя о том, что здесь когда-то шла бурная непростая жизнь.  
Поначалу поселились в рубленой баньке с утепленной пристройкой, которую целую осень ладили для будущего скита архитектор из местных, сельский интеллигент с народническими идеями, в своем роде подвижник и мастер на все руки, да еще один чудик, бывший начальник волжского пароходства, пришедший сюда подвизаться и спасать душу. Банька была построена в прихотливом псевдорусском стиле, с наличниками, резными ставнями и крылечками. Вскоре к ней прилепилась и тесовая церковка — с луковкой, слюдяными окошками и изразцовой печкой, а также и просторная мастерская. По замыслу иконописца Ерма ее должны были окружить четыре–пять аккуратных хижин, покрытых соломой и соединенных дорожками, устланными большими каменными плитами… Такая идеальная обитель со своими уединенными уголками. Молитвенная скитская жизнь… Эта вековечная мечта создать здесь, на земле, некое идеальное общество, где бы все любили друг друга и непрестанно едиными устами и единым сердцем славословили Своего Творца…  
Раз в неделю сюда по лесной дороге привозили из монастыря капусту, картошку, весной и летом присылали сезонных рабочих, помогавших восстанавливать и храм, и здания, и стену. За это требовали иконостасы и просто иконы для братии и для подарков заезжим архиереям и даже самому Патриарху.  
Главное, что раздражало иконописца Ерма в этом товарообмене, — это неусыпный контроль над его мастерской. Наместник Нафанаил — и сам, и через подставных лиц — ревниво и зорко наблюдал, чтобы никакие иконы не уходили отсюда без его ведома в другие монастыри и храмы: он это называл «налево».  
Был архимандрит Нафанаил из военной семьи, по всей видимости, — из «штабных», во всяком случае, его наместничий кабинет был заполнен скоросшивателями, аккуратными стопками папок, к которым были подколоты всякие монашеские «докладные» и «объяснительные» записки, а также всевозможные рапорты, обязательства, графики дежурств и отчеты.  
Самого себя он называл «мы» — из своеобразного смирения, чтобы не «якать». Да и слово «своеобразный» было подхвачено всем монастырем из его уст и обозначало любой человеческий выверт, глупость и просто — пакость. Существовало у него и еще одно весьма даже вместительно словцо — «чудить». Оно выражало совсем уж сугубую, можно сказать, вопиющую «своеобразность» поведения. Чтобы никого и ничего невольно не осудить и в то же время выразить свое негодование, отец Нафанаил говорил зловещим свистящим шепотом — ибо он никогда не повышал голоса, а в случаях исключительных только еще больше его понижал — итак, он шелестел: «своеобразный человек», «своеобразное поведение», и всем становилась очевидна крайняя степень его негодования.  
Иногда, будучи недовольным, он вообще ничего и никому не говорил, но медленно приближался к возмутителям своего спокойствия и с трех шагов показывал им три пальца, издавая при этом губами: «тцч!». Это означало «тише!», а три пальца, воздетые ввысь, знаменовали собой три поклона, отныне наложенных наместником на провинившегося чернеца.  
Он искренне и глубоко страдал, когда замечал в монастыре какие-то шатания, беспорядки, неподобающее шушуканье по углам… Один раз, выйдя на амвон, он прямо так и возгласил, уподобясь апостолу Павлу:  
— Братие! Братие! — повторил он, откашливаясь. — Всем известно, что старцы наши больны и немощны, и в этом смысле — как бы и нет уже у нас старцев. Но это не так. Будем же помнить, что главный старец для нас теперь — Дисциплина!  
Так вот — архимандрит Нафанаил хотел заставить и игумена Ерма признать этого нового монастырского «старца» и обязать его писать ежедневные отчеты о проделанной в новом скиту работе и особенно о том, что делалось в иконописной мастерской. Поначалу отец Ерм «за послушание» повелел своему ученику завести тетрадку для такого рода записей, и тот несколько месяцев кряду вносил туда аккуратным почерком: терли краски, левкасили доски, прописывали лики. А потом — на пятый ли, на шестой ли месяц — отец Ерм был явно не в духе и швырнул все эти записи в огонь, погрозив кулаком в сторону Свято–Троицкого монастыря. Тогда же у него возникла идея отложиться от Нафанаила с его хилой кормежкой и рабочими из «болящих» и попроситься под начало самого Патриарха или уж — на худой конец — епархиального архиерея епископа Варнавы. Канонические основания для этого имелись — его Спасо–Преображенский монастырь никогда раньше не был скитом Свято–Троицкого и имел полную хозяйственную самостоятельность, а в иные времена мог бы и посоперничать с ним благолепием храмов и числом монашеской братии.  
Но с Патриархом тогда ничего не вышло, а епископ Варнава, как оказалось, очень почитал своего наместника отца Нафанаила и не хотел идти против него. Так дело до поры и заглохло, чтобы разрешиться потом весьма своеобразно, как сказал бы архимандрит Нафанаил. А пока мой духовник очень томился под присмотром монастырского начальства. На все он должен был спрашивать разрешение. Он признавался, что чувствует себя так, словно ледяная рука схватила его горло.  
А кроме того, между Свято–Троицким монастырем и Преображенским скитом установились очень напряженные отношения… Ну так что ж, так бывает — Святые Отцы говорили, что за монахами толпами ходят бесы, даже прячутся в складках их мантий, подстерегая чернецов в минуту их немощи и вкладывая в них порой самые нелепые, самые греховные помыслы. Потому что цель у них, этих демонов, — одна: погубить воина Христова. Ибо монах молится за весь Божий мир, и трепещут от этой молитвы мрачные демоны, и содрогается ад.  
И вот если какой-то монах из монастыря прибредал в скит, его там расценивали как нафанаиловского соглядатая и обращались с ним сурово, почти враждебно. А на каждого скитского насельника в монастыре смотрели как на ермовского шпиона, порченного латинской ересью, потому что ведь еще до переселения в скит у моего духовника возникли какие-то католические симпатии. Ведь именно такого рода подозрительные взгляды ловил на себе поначалу иконописец, ученик отца Ерма Дионисий.  
Игумен Ерм его наказал «за снежки», которыми он некогда закидал учителя, а на самом деле, конечно, за дерзость, за наглость, за разнузданность, в конце концов, за пьянство. Что общего у монаха с богемой? Что сродного у строгого игумена Ерма с этим молодым столичным снобом, с этим безнадежным декадентом? Ведь даже на его иконах святые напоминали более изящных и болезненных бесплотных духов, чем «ангелов во плоти», оставлявших нам свои чудотворные мощи.  
И вот монах Дионисий был оставлен своим учителем в монастыре — в назидание. Чтобы — «хлебнул этой ортодоксальной дури, закоснелой пошлости и опомнился», «чтобы восскорбел от этого непролазного невежества и приполз в скит на покаяние».  
Но наместник приветил брошенного Дионисия, вспомнил, что поначалу, когда Дионисий только–только поступил в монастырь, он исправно нес послушание на курятнике, то есть «положительно себя зарекомендовал», и это ему — «плюсик», а также рассудил, что если он — иконописец, то «иконописцы монастырю насущно необходимы». Вот Дионисий и занял все былые покои отца Ерма. А кроме того — поскольку у Дионисия был прекрасный баритон, то отец Наместник рукоположил его в скором времени в дьякона и ставил с собой служить все праздничные службы. И Дионисий как-то раз высказался, что наконец-то живет он в монастыре «как у Христа за пазухой».  
Итак, слухи о католических симпатиях знаменитого иконописца так или иначе просачивались в монастырь, порой даже в фантастическом виде. Рассказывали всякую небывальщину — якобы игумен стал уже католическим кардиналом и даже специально тайно ездил в Рим присягать Папе и целовать папскую туфлю. Кто-то из зловредных шутников прислал ему мерзейшую посылку: статуэтку черной собаки, а на ней приклеена надпись: «Римская мама». Очевидно, предполагалось, что она должна символизировать волчицу… И еще в посылке был старый башмак, а на нем надпись — «папская туфля»… Ну, это явно бесовское наущение.  
Но и в скит проникали кое–какие казусы Свято–Троицкой монастырской жизни. И игумен Ерм каждый раз досадливо морщился и говорил:  
— Вот они — плоды невежества! Взошедшие семена дури!  
Такое он испытывал раздражение, как только доводилось ему слышать что-нибудь о своем бывшем монастыре. И даже когда к нему приехал оттуда иеромонах Филипп, молодой, ясный, подвижнического духа, отец Ерм вообще поначалу хотел захлопнуть перед ним дверь. Может, еще и потому, что когда-то отец Филипп очень почитал моего духовника, исповедовался у него, но однажды рассказал ему свой сон, который игумену очень даже не понравился.  
Якобы приснилось Филиппу, тогда еще молоденькому послушнику, будто служат они с отцом Ермом в огромном золотом Соборе, и Филипп возглавляет службу, а игумен ему кланяется…  
После этого отец Ерм стал его чураться и считал его чуть ли не провокатором. Все время ждал от него каверзы, подвоха. Действительно, что он — Иосиф Прекрасный, которому во сне явились отец и старшие братья под видом снопов и кланялись ему в ножки? То же мне — вещий сновидец!  
Иеромонах же Филипп приехал к нему теперь, как он выразился, по серьезному духовному делу. Так что закрыть перед ним дверь никак уж не удалось. Он привез с собой какого-то человека.  
— Слушай, Ерм, — сказал Филипп. — Прошу тебя как брата. Это бывший чекист. Очень большой чин. Хочет покаяться, но говорит: только незапятнанному духовному человеку покаюсь. А я для него — пшик, соседом я его был по лестничной клетке, еще в Москве. Говорит: ты — мальчишка, как тебе каяться, что ты можешь понять? Поисповедуй его, какую угодно епитимью наложи — он все снесет, а так — лукавый его терзает по ночам, прямо на грудь садится…  
Но отец Ерм уже напрягся на него, замахал руками:  
— Ты — ко мне — этого гебешника? Да никогда! Нечего ему здесь делать. Убирай его отсюда.  
— Да ведь покаявшийся же разбойник он, Ерм!  
— Не смей возить ко мне стукачей!  
— Да как я ему объясню? Разве чекистам отказано в покаянии? Он же не просто поболтать с тобой о чекистских буднях приехал… В грехах каяться… Ведь человек же, Божие же творение, Ерм!  
— Вот сам и разбирайся с этим творением… У вас в монастыре духовники есть, старцы есть, пусть они. Может, он вынюхивать сюда приехал — что, кто, как, о ком, о чем…  
Филипп сделал последнюю попытку, сказал просительно, понижая голос:  
— Жена у него выбросилась месяц назад из окна, с тех пор и приходит к нему по ночам. Он говорит: я на любые жертвы готов, на любые наказания, лишь бы это наваждение сгинуло… Если надо, то и в монахи уйду, говорит. Только отвези меня к истинно духовному человеку, к чистому подвижнику меня отвези. О тебе услышал, как ты без электричества подвизался, одной пшеничкой питался, говорит: вот к этому меня отвези, к постнику. Да и сам посуди — что ему у тебя выведывать? Что ты такого тайного делаешь, чтобы предполагать у него такой коварный разведывательный план?  
— Чтоб духу его здесь не было! Или я сам отсюда уйду! — отрезал игумен Ерм.  
— Ты, пастырь, отказываешься поисповедовать заблудшую овцу? — Филипп вообще любил говорить возвышенно, с пафосом. Скажет — и делается пунцовым. Теперь же было ясно, что это — ссора.  
Ну и увез отец Филипп этого чекиста с собой в монастырь.  
— Отец Ерм очень занят. Видишь, что тут твои большевистские чекисты понаделали, а ему теперь восстанавливать.  
Чекист отрицательно покачал головой:  
— Это не мои. Мы с НТС работали. Полностью их развалили. Вся их организация оказалась переполненной нашими агентами. Скажи ему. Мы с церковью никогда не работали…  
Филипп отвел чекиста к монастырскому старцу Игнатию, но про историю с Ермом рассказал в монастыре. И монахи очень возмущались. Но они просто не знали всей подоплеки… Может быть, если бы этот чекист попал к игумену не через отца Филиппа, он бы принял его, и поисповедовал, и все бы сделал для него.  
Все чаще слышалось в разговорах о скитском игумене: «еретик», «иезуит» и даже «масон». Особенно старалась небольшая, но сплоченная группа монахов, объединенных принадлежностью к мордовской национальности. Все они держались несколько особняком среди монастырской братии, признавая исключительно авторитет своего сродника по крови игумена Платона, монастырского благочинного. Страсти достигли точки кипения, когда я хотела было купить у него старый ржавый «Запорожец», который тем не менее был на ходу и на котором я собиралась ездить из Троицка по лесной дороге в скит к отцу Ерму: семь километров туда, семь обратно. Игумен Платон же мечтал сбагрить с рук «машинерию» и продавал ее за весьма условную цену. Но как только он узнал, что его вещь может оказаться полезной «беззаконному масонскому сборищу», ибо он часто раньше видел меня на Афонской горке у отца Ерма, как цена стремительно поползла вверх. Но меня это не остановило. Тогда игумен Платон определил:  
— Пусть лучше он сгниет на хоздворе, а масонам не достанется.  
Так этот «Запорожец» и сгнил…  
— Поделом! — мрачно комментировал мой духовник. И с негодованием поминал отца Филиппа: — Знаете, кого мне сюда привез? Чекиста! Да–да! Это же надо додуматься! Стукача, что ли, хотел ко мне приставить!  
А заодно сюда же прибавлял невероятную историю о том, как Свято–Троицкие монахи расстреляли воинскую часть:  
— Они целую воинскую часть расстреляли, монахи эти, что с них взять?  
На самом же деле это было так. Жил в монастыре с незапамятных времен монах Матфей. Нес он послушание садовника, а по ночам сторожил монастырские поля, растянувшиеся за каменной монастырской стеной. На сторожевой башне у него были установлены прожектора, приборы ночного видения, а также разложены ракетницы и винтовки, заряженные крупной солью, — все это снаряжение было во время перестройки пожертвовано монастырю близлежащей военной частью в благодарность за освящение ее территории и строений.  
До монастыря Матфей служил пограничником на советско–китайской границе И по природной добросовестности наверняка дослужился бы до всяких там лычек, но он вдруг стал катастрофически слепнуть, и в этой сумеречном пространстве, как он рассказывал, явилась ему сама Матерь Божия и сказала: «Мать тебя посвятила Богу, а ты ее не послушался! Пойди к ней, попроси прощения и уходи в монастырь».  
Примерно так сказала ему Матерь Божия, только в ее устах звучало это все на украинской мове, верность которой Матфей ухитрился сохранить, несмотря на двадцатилетнюю жизнь в русском монастыре и даже некоторые связанные с ней прещения со стороны наместника. Тот будто бы вдруг чего-то даже испугался, услышав от своего келейника, что Матфей якобы называет Николая Чудотворца «Мыколой Хфокусныком».  
— Ничего не понимаем, что ты своеобразно так нам тут сообщаешь! Чудишь, — говорил ему архимандрит Нафанаил, переходя на свистящий шепот, что означало крайнюю степень его раздражения. — Мы здесь наместники в России и мовы твоей имеем право не разуметь.  
— Як бачу, так и кажу, а як не бачу, то и не балакаю. Ця мова для Господа дюже добре. Як злодии на поле цю мову почують, так швидко и потикають, як биси, як скаженни.  
Наместник Нафанаил знал, что это воистину было так: чуть только Матфей наводил на поле свою «мову» — свой мощный пограничный прожектор, воры, решившие полакомиться было монастырской капусткой или картошечкой, тут же ложились пластом на землю, ибо понимали, что сейчас начнется настоящий артобстрел из ракетниц.  
Слава Матфея достигла своего апогея, когда целый солдатский взвод вместе с офицером подъехал глубокой ночью к монастырской поленнице, находившейся на краю поля под навесом, и высадился на снегу десантом.  
Матфей засек их грузовик, однако решил подпустить воров поближе к монастырской стене, и когда первая рука потянулась к поленнице, открыл огонь из ракетниц. Солдаты, привыкшие к полигонам, тут же, как один, залегли и распластались на снегу. Монах Матфей прекратил огонь и предался ожиданию, посматривая в прибор ночного видения, подаренный монастырю, повторяем, той же военной частью. Надо сказать, что был легкий морозец. И через несколько минут фигурки, расстеленные на снегу, сделали свои первые робкие движения по направлению к грузовику. Тут-то отец Матфей и открыл по ним новый шквальный огонь из ракетниц. Страшный треск пронзил, сотряс округу и отозвался в ближайшем леске долгим заунывным эхом. Небо озарилось снопом безумных искр, солдатики вжались в снег, и через минуту поле погрузилось в ледяное безмолвие и кромешный мрак. Теперь уж все поняли, что дело серьезно, и решили затаиться, ободряемые мыслью, что сторожу это все может скоро надоесть, и он отлучится по какой-нибудь надобности. Но Матфей был не из таких. Он знал, что морозец как его верный союзник вот–вот сделает свое дело, а уж довершать придется ему, Матфею. Поэтому он преспокойненько сидел в своей башне, где у него имелось и ватное одеяло, и валенки, и даже термос с горячим чаем, и не собирался никуда отлучаться. Не было у него никакой такой надобности. Он ждал.  
Минут через десять он заметил в стане врага легкое шевеление. Прикрывая голову руками, солдаты принимались медленно и по–пластунски отступать. Он дал им отползти метра на два, отхлебнул из термоса горяченького чайку и неторопливо зарядил ракетницы. Через полминуты небо вновь полыхнуло радостным победным салютом, а воздух снова отрапортовал оглушительным треском и грохотом. После этого отец Матфей вытер губы, аккуратно сложил оружие и отправился совершать положенное молитвенное вечернее правило. Он знал, что рассказ о его ночном ратном подвиге перерастет в легенду, из легенды — в миф, который так и будет передаваться по военным частям из одного солдатского поколения в другое, и потому всяким попыткам воровать что-либо в монастырских угодьях солдаты скорее предпочтут долгое сидение на хлебе и воде, да еще и в нетопленой казарме.  
Вот так монах Матфей делал свое сторожевое дело.  
Но в одном он был абсолютно прав — слава его растеклась не только по военным частям, окружавшим Троицк, не только поразила воображение своего, братского монашества, но и достигла в некотором роде оппозиционного Преображенского скита.  
Между прочим, наместник решил-таки его наказать и за некоторую заносчивость, которая у него появилась в результате побед над врагом, и, как он выразился, за «неуместность речений», под чем он подразумевал «ридну мову», ибо в ней ему виделось неуважение к наместнику, и вообще, вообще — для острастки, для смирения, для послушания, для необходимых в монашеской жизни скорбей.  
— Тцч! — прошептал он, поднимая три пальца вверх.  
— Що таке? — с изумлением переспросил Матфей.  
Архимандрит Нафанаил потряс в воздухе пальцами и повторил:  
— Тцч!  
— Як, як? — не поверил глазам Матфей.  
— Три поклончика, — тихо–тихо, но внятно прошевелил губами отец Нафанаил.  
— А, то це добре, — успокоился отец Матфей. — А то я дывлюсь, що це за дывовына, що це за таемныця? Роги — не роги, выла — не выла…  
Больше отец Наместник его к себе не вызывал. А Матфей каждый вечер — перед выходом на дозор исправно клал свои три поклончика, постепенно забывая, за что и от кого он их схлопотал.  
Именно это и имел в виду отец Ерм, когда он возмущался расстрелом целого воинского батальона. Расстрелом, которым, по его словам, командовали монахи.  
Словом, страсти были предельно накалены, а качели были раскачаны так неистово, что неизбежно ударяли всех, стоящих и по одну, и по другую сторону от них. Демоны наверняка были очень довольны своей работкой, потирали свои черненькие грязные корявые лапы… Распевали на разные голоса: «Наша воля, наша власть!» — как-то так. И мне кажется, все — и в монастыре, и в скиту — ощущали это глумление над собой темной силы. Но мой духовник сказал мне:  
— Какая чушь! Помните — бесы всегда бегут от лица Господня. Сам Христос изгоняет их из своих владений. Помните, как Он говорит в Евангелии: пойдите скажите этой лисице, Ироду — се изгоняю бесов. Так вот — как только заслышите в себе искусительный иродов голос, сразу и вспоминайте, что вам надо ответить этой лисице. Ибо Ирод всегда хочет одного: убить Христа.  
Так сказал мне мой духовник, освещенный красноватым зимним закатным солнцем.  
А старого чекиста, покаявшегося и теперь готовившегося в монастыре к постригу, приняли в монастыре как родного. Выходило так, будто он «пострадал от масонов», или что-то в этом роде.  
Меж тем примерно в эту пору Свято–Троицкому монастырю позволили открыть свое подворье в Москве. Наместником туда был назначен иеромонах Филипп, тот самый, который привозил к игумену Ерму чекиста. Вот Филипп и уехал открывать новую обитель. Но весьма вскоре вслед за ним стал туда собираться и отец Нафанаил — навести контроль, получить отчет о проделанной работе, а кроме того — послужить на Рождество в новом подворье, ибо это был престольный праздник… И это все — несмотря на то, что его мучил радикулит и одолели хвори простудного характера: он кашлял, чихал, смотрел на мир красными слезящимися глазами и громко сморкался. На это время он даже оставил манеру раздавать направо–налево поклончики — ему было плохо, и он весь сосредоточился на себе и предстоящей поездке.  
— Нехорошо, — говорил он, — на нашем подворье престольный праздник, а мы здесь.  
— Так вы же больны! — замечал ему келейник.  
— Больны не больны, а это наш наместничий долг, — назидал его архимандрит. — Может, там сам Святейший служить будет или пришлет кого. Владыка Варнава наверняка пожалует. Наместники других монастырей. Хватятся — а нас нет. Спросят — а где, собственно, Свято–Троицкий монастырь? Скажут: а наместник там болен. А тогда они ответят: а больные в звании наместников нам ни к чему.  
Итак, он собирался. Брал с собой только своего иеродьякона Дионисия да келейника. В пошивочной мастерской ему готовили и новый подрясник и новую зимнюю рясу. В качестве подарка он вез два белых старинных священнических облачения, шитых золотой нитью, как и положено на Рождество, икону Рождества Христова, между прочим, принадлежавшую вдохновению иконописца Ерма, и пачку открыток с видом Свято–Троицкого монастыря.  
Однако, не обошлось без скорбей. Главная — самая искусная мастерица свалилась с температурой, и зимняя ряса так и осталась недошитой. Одно из двух подарочных облачений оказалось настолько ветхим и обтрепанным, что дарить его было просто неприлично. Решили ограничиться одним — более или менее целым, а также превосходной Ермовой иконой и открытками, присовокупив к ним еще и дюжину выпущенных десяток лет назад пластинок с записями монастырского колокольного звона.  
Но и там была беда: то ли пластинки пролежали слишком долго на складе, то ли хранили их как-то неправильно, но они сделались столь хрупкими, что стоило лишь их взять за ребро, а не положить на ладонь, как кусок откалывался и оставался в руке.  
— Искушение! — сокрушенно мотал головой келейник.  
— Ничего, ничего, — подбадривал сам себя отец Нафанаил. — Мы довезем их аккуратненько в коробке, да так и передадим. А что они там сломаются — так это уже не наша вина. Мы-то дарили целые!  
Наконец Дионисию все-таки удалось его убедить, что так делать нельзя: когда вся дюжина расколется при первом прикосновении, там, в Рождественском подворье, поймут, что пластинки — некачественные, бракованные.  
— Ну что мы можем поделать! — отбивался наместник. — Монастырь у нас бедный, можно даже сказать, нищий… Денежная реформа разорила нас вконец. За экскурсии — и то запретили нам брать деньги. Раньше хоть какие-нибудь иностранцы приедут, захотят отправиться на осмотр пещер, так мы им туда билеты продавали. А теперь — все бесплатно. Просто так жертвовать-то не хочет никто!  
Действительно, главной святыней и достопримечательностью монастыря были длинные и глубокие пещеры, не искусственные, а созданные Самим Творцом. Они так и назывались: «Пещеры, Богом зданные». Вход в них был у самого Троицкого храма и вел вглубь Афонской горки. Чуть дальше проход разделялся на несколько лабиринтов, каждый их которых либо упирался в небольшой церковный предел, либо уводил в неведомую подземную даль. Существовало предание, что эти пещеры были соединены с пещерами самой Псково–Печорской обители, а может быть, даже и Киево–Печерской Лавры, и монахи, в случае осады обители, могли тайно сообщаться со своими собратьями из Печор и Киева. Но план подземелья был утерян, и никто не знал, какой из лабиринтов приведет его к золотым куполам. Поэтому монастырь пользовался лишь освоенной частью пещер. В отгороженных нишах, которые примыкали к лабиринтам, издревле хоронили насельников и благотворителей монастыря. Гробы их складывали один на другой, и когда одна ниша заполнялась, ее закрывали железной дверью и переходили к другой.  
Пещеры были песчаные: плотный мелкий серый песок покрывал своды и стены, рыхлый и мягкий лежал под ногами. Диво еще заключалось в том, что, какая бы ни была погода снаружи, в пещерах всегда поддерживалась одна и та же температура, кажется, плюс шесть градусов, которая задерживала, а быть может и вовсе останавливала тление. Во всяком случае, здесь никогда не было запаха, который напоминал бы о том, что в двух шагах от прохода, по которому движутся люди, дожидаются Судного Дня в своих деревянных гробах мертвецы. Были здесь и захоронения монастырских подвижников, прославленных своими чудесами. Гробы их занимали отдельную, довольно просторную нишу. Мощи их оставались вовсе нетленными и благоухали — даже пелены, укрывавшие их сухонькие тела, пахли каким-то неземным ладаном.  
Пещеры были вписаны в общий областной экскурсионный план, и поэтому в монастырь привозили туристов, которым здесь продавали билеты «на осмотр святыни». Кроме того — экскурсанты покупали у входа в пещеры и свечи, которые стоили здесь в несколько раз дороже, чем в храме: это приносило монастырю кое–какой доход. Однако несколько месяцев назад сразу в нескольких московских газетах — из «прогрессивных» — появились статьи с кричащими названиями типа «Плата за святыню», «Почем нынче мощи» и даже «Монастырь как дом торговли». Они, что называется, выводили монастырь «на чистую воду», обличая его в том, что он, якобы спекулируя на «святых чувствах», вынуждает паломников дважды платить за одни и те же «пещерные впечатления»: первый раз они уже платили за них в областное экскурсионное бюро.  
Епископ Варнава вызвал к себе ничего не подозревавшего Нафанаила и, размахивая перед его носом подшивкой столичных газет, кричал: «Вам — доход, а меня — на приход!» Короче говоря, перепуганный наместник, вернувшись в монастырь, повелел вовсе закрыть пещеры, а если и открывать, то исключительно для братии.  
Все это бурно обсуждалось по кельям, и монахи вынесли из этого лишь одно: все подстроил им несомненно игумен Ерм. Это он имел застарелую вражду к Свято–Троицкому монастырю. Это он принимал у себя столичных писак, он же их и науськал. Именно он снарядил их оружием собственной осведомленности. Даже Дионисий с подозрением спросил меня:  
— А это случайно не ты приложила руку?  
Но я с негодованием отвергла его вопрос. Потому что в том, что пещеры «Богом зданные» кормили молитвенный монастырь, не было ничего предосудительного: получалось, что это Сам Господь питает свое воинство. Почему-то мне кажется, что если бы это было сформулировано именно так, мой духовник со мною бы согласился. Но в монастыре говорили: «Узнаю Ермов стиль!» или: «Да, наш авва нас так просто не оставит».  
Однако догадки, откуда ветер дует, постепенно перешедшие в твердое чувство уверенности, основывались, помимо «Ермова стиля», еще и на том, что оба монастыря, при всем своем противостоянии друг другу, совсем не были так уж изолированы, а при сохранении обоюдоострого напряженного интереса меж ними, всегда находились люди, готовые перенести свежие вести как туда, так и обратно. Так что о «плате за святыню» насельники Свято–Троицкой обители уже слышали и до газетной атаки, и в идеологическом авторстве отца Ерма уже не сомневались.  
Конечно, многие из Свято–Троицких искусились. Шли неподобающие разговоры о том, что, якобы он сам «сидит по уши в гуманитарной помощи», что «продает иностранцам иконы за баксы»… А Свято–Троицкий монастырь и паломников кормит бесплатно, и старых больных монахов своих лечит, и пол–России духовно окормляет. Говорили и о том, что на Западе, который «так почитает игумен Ерм», даже плюнуть бесплатно нельзя: сядешь на скамейку — доллар, в сортир пойдешь — доллар. И что этим иностранцам сразу и не так интересно будет, если с них плату перестанут брать, потому как у них своя психология: если дорого — значит ценно, «работает». Магия для них, может, и мракобесие, но зато «работает». «Работает» — это довод. А «работает» — только за деньги. Чем больше денег, тем ценнее, тем лучше «работает». И вообще с них лучше было бы драть за пещеры три шкуры. Чем больше платили бы, тем более поклонялись. Чем более поклонялись, тем больше бы народа сюда приезжало. Чем больше народа, тем больше денег монастырю. А чем больше монастырю денег — тем шире миссионерская деятельность. Святых отцов бы у себя издавали. Газету бы свою монастырскую выпускали. Радиопрограмму бы свою открыли. Даже целый телеканал!.. А помимо того — богадельня при монастыре нужна? Нужна. А приют для сирот? А нечто вроде божедомья? А, извините, на какие гроши, когда братия ходит в залатанных рясах и питается жидким варевом? Вот как. А на дармовщинку — эти иностранцы все равно ничего не поймут. И при этом все апеллировали к иеромонаху Иустину как сугубому знатоку вопроса: во–первых, он был из семьи дипломатов, работавших в Америке, и сам прожил до семнадцати лет в Нью–Йорке, а во–вторых, он водил экскурсии по пещерам, а теперь водить ему было больше некого, и он оказывался страдательным лицом. Но Иустин только улыбался им в ответ.  
Подобные разговоры обкатывались по всему монастырю, пока наконец не принимали определенную законченную форму, которая сводилась к нескольким устойчивым положениям: враги монастыря ищут его разорения, падения и бесчестия, что вполне соответствует «последний временам». Пользуясь иезуитскими или масонскими (что означало для них одно и то же) демагогическими приемами, передергиванием фактов, провокациями и запугиваниями (столичная пресса), они сумели навязать свою линию поведения и архиерею, и наместнику, которые вынуждены и теперь, и впредь плясать под их дудку.  
Вот почему и стала возможна здесь вся эта знаменитая и сенсационная «история с мафиозо», которая обернулась потом громким скандалом, и даже не только стала возможна, но и была поначалу воспринята в монастыре спокойно, единодушно и одобрительно.  
Почти накануне отъезда наместника в Москву на храмовый подворский праздник, то есть тогда, когда он все еще пробовал пластинки «на прочность», которой они не выдерживали, доставая их именно что «за ребро» из коробки, а его келейник, воздыхая: «Искушение!», безропотно выносил из его покоев черные осколки, когда архимандрит ломал голову над ветхим облачением, которое все еще был намерен принести в дар молодому подворью, когда он сморкался и кашлял, хватаясь за поясницу и повторяя: «Что же нам поделать: монастырь у нас нищий», к нему и заявились эти трое в черных очках.  
Был конец декабря, погода стояла ужасная — буря, вихри, буран, мрак не отпускали монастырь даже в дневные часы, и у наместника в его покоях горел свет, а эти, шуганув келейника, ввалились прямо в наместничий кабинет. И архимандрита Нафанаила потрясли прежде всего их черные очки.  
Впрочем, говорили они с ним недолго и вполне вежливо. Дело сводилось к тому, что они просили наместника предоставить им место в пещерах для захоронения их «Витали», который «сильно верил», но был «предательски убит восемнадцатью бандитскими пулями». За это они обещали пожертвовать от имени Витали сто тысяч долларов «наличняком» на монастырь. Получалось таким образом, что Виталя, переходя в категорию монастырских благотворителей, мог рассчитывать на право быть захороненным в чудесных пещерах. Кроме того — и тут один из них снял очки, под которыми оказались заплаканные и несчастные глаза, — брат Витали — Виктор, или «Витан», готов был прибавить из своих еще сто тысяч «в валюте» на пожизненное поминовение души убиенного любимого брата…  
Честно говоря, никто из монахов не слышал их разговора, но ходили слухи, что наместник согласился так сразу под впечатлением пистолетного дула, приставленного к его виску. Однако в монастыре они не прижились, хотя и имели хождение за его стенами: отец Нафанаил со всеми своими «тцч» и «поклончиками», со всей своей солдатчиной и твердолобым упорством принадлежал к типу «страстотерпцев». И даже если предположить, что дуло и было приставлено к его голове, а он все же не был бы убежден в правомочности захоронения и его легитимности, вряд ли бы он не выкинул какое-нибудь коленце перед «черноочковыми», — ну не предал бы их анафеме или не наложил бы на них какое иное церковное прещение. Скорее всего, он выяснил вопрос о том, имел ли покойник каноническое право быть захороненным по православному чину, то есть попросту — был ли он крещен. Получив удовлетворительный ответ о том, что Виталя был крещен даже совсем недавно одним из монастырских иеромонахов и даже приобщился после этого Святых Тайн, наместник безусловно спросил имя крестившего. И получив ответ, удовлетворенно кивнул.  
— Так, так, — сказал он, — значит, каноническое право христианского погребения имеется. Имеется ли право захоронения в монастырских пещерах, вот в чем вопрос.  
Ему тут же без обиняков напомнили про благотворительные сто тысяч от Витали плюс сто тысяч от брата Витана.  
— Взнос изрядный, — рассудил отец Нафанаил. — Десять лет назад мы хоронили в пещерах одну рабу Божию — из местных, завещавшую монастырю свой дом в Троицке. Дом мы сделали странноприимным, — пояснил он. — Думаю, ваша благотворительность делает захоронение вполне приемлемым и традиционным.  
Ну а в голове у него тотчас же и заработало–застрекотало: водопровод и канализация в монастыре прогнили, их заменять надо, — раз, батареи не греют, котлы «не тянут» — отопление ремонтировать, котлы, трубы менять, угля подкупить, — два. Крыши подтекают–капают, полы проваливаются, — три и четыре, краска на храмах и братских корпусах облупилась, братия живет по несколько чернецов в келье, все это побелить–покрасить, новый корпус для братии построить — это пять и шесть, и семь… Ну и так далее. Стена монастырская обваливается, дорога через монастырь вся в колдобинах — вечных лужах… Да эти деньги — так только, дыры залатать: все ведь в монастыре ветхое, прогнившее, истлевшее от времени и его бурь.  
Отпевание было назначено на послеобеденное время, и в тот же день архимандрит Нафанаил сообщил об этом братии за трапезой.  
Удивительно, но оказалось, что кое-кто из братии уже знал об этом чуть ли лучше самого наместника… Как это происходит? Знали уже, что Виталя — чуть ли не глава воронежской мафии, что после крещения он — по милости Божией, вероятнее всего, «нагрешить еще не успел, так быстро Господь его прибрал». Квалифицировали его как «покаявшегося разбойника». Вспоминали и инока честного Питирима — бывшего разбойника Кудеяра, воспетого народной песней. И всяких покаявшихся грешников, ставших святыми. Рассуждали, что хоронили же испокон в пещерах монастырских благотворителей, а кто знает, «какие у них были грехи».  
В пять часов пополудни Виталя был уже отпет по полному чину в присутствии монастырских насельников и своей черноочковой, вооруженной и лысой братвы, внесен в свободную пещерную нишу и оставлен там при свете оплывших свечей и разноцветных лампад.  
В пять часов тридцать минут в наместничьем сейфе лежало двести тысяч долларов, а в шесть — многочисленные «вольво», «мерседесы,» «ауди», «саабы» и разномастные «джипы», заполонившие площадь перед входом в монастырь, сорвались с места и скрылись в черном буране.  
Через несколько дней наместник в сопровождении келейника и Дионисия выехали в Москву. Твердое лицо его выражало благосклонность к происходящему, и душа его была спокойна как никогда.  
Примерно тогда же игумен Ерм расхаживал по мастерской и громко возмущался:  
— Вот! Докатились! Уже воронежскую мафию в пещерах хоронят! Ниже падать некуда! Никто и ничто им не указ, не авторитет. Ни архиерей, ни Патриарх.  
Даже, против обыкновения, позвонил мне в Москву.  
Я робко, но велеречиво пыталась его успокоить. Пустилась рассуждать. Что-то вроде того, что Господь и здесь волен собирать, где не сеял, что, может быть, не разбойник осквернит святыню, а братия в присутствии святыни отмолит этого грешника — ведь покрестился же он, как говорят, перед смертью, ведь причастился же!  
Но игумен строго оборвал мои речения. Он сказал, что все это ему напоминает «кликушество старой бабки». И повесил трубку.  
Он же, приготовив большую храмовую икону, писаную на золоте, отправился с ней к епископу Варнаве. Владыка принял дар, выслушал отца Ерма, заказал ему иконостас для нового придела в кафедральном соборе и отправил с миром.  
Через несколько дней, сразу после Рождества Христова, игумен Ерм был назначен наместником Преображенского монастыря и собственноручно разорвал бумагу с перечнем заказов, записанных по пунктам аккуратным почерком архимандрита Нафанаила.  
В эти же самые дни отец Нафанаил вернулся из Москвы и был тут же извещен о том, что захороненный мифиозо «провонял все пещеры». Это сообщили ему буквально все в монастыре — от иеромонаха Иустина, уверявшего, что там «смрад и зловоние», до простых бабусек, подходивших к нему под благословение:  
— Батюшка, там этот-то ваш споньсер так смердит, так смердит!  
Первым делом архимандрит Нафанаил сам пошел и проверил. Но не почувствовал ничего. Даже специально нагнулся и принюхался к гробу: есть, конечно, какой-то тлетворный душок, но не более. Заставил нюхать келейника. Тот потянул воздух носом и подтвердил:  
— Рыбой вяленой припахивает… Но так, чтобы уж воняло вовсю — это нет. Это Иустин привык французскими духами душиться. Водой с ментолом рот полоскать. А в деревенском сортире, небось, в обморок упадет.  
В общем, наместник решил, что все чрезмерно преувеличено, но все-таки какие-то меры надо принять.  
Во–вторых, ему сообщили, что игумен Ерм отложился от их монастыря и получил статус самостоятельности: сам теперь наместник. Сам себе голова.  
А в–третьих, его вызывал к себе епископ Варнава. Наместник думал, что это связано с их новым подворьем в Москве и неприятностями вокруг него, и владыка, который, как теперь понимал отец Нафанаил, лишь по великой милости Божией не отправился туда служить на храмовый праздник, хочет просто узнать от очевидца, как там и что. В крайнем случае, он решил пообещать архиерею, что пожертвует отцом Филиппом, раз у него так плохо обстоят дела с вверенным ему подворьем, и назначит кого другого… А с другой стороны, распорядился, чтобы у Филиппа отобрали келью, которая оставалась за ним в здешнем монастыре, чтобы подворский наместник всегда мог приехать в альматер, помолиться, посоветоваться со старшими, испросить благословение. Ну и теперь получалось, что Филипп, не имеющий здесь даже своей кельи, для монастыря — вообще отрезанный ломоть. Пусть сам за себя отвечает перед владыкой, коли начудил. И поэтому отец Нафанаил не очень и торопился.  
Все должно быть чинно, степенно.  
Однако решил ехать к архиерею не только с келейником, но и с иеродиаконом Дионисием. Сказал ему даже:  
— Возьми для владыки какую-нибудь тобою написанную икону — на всякий случай, мало ли что.  
И келейник, словно что-то почувствовав, глубоко вздохнул:  
— Искушение!  
— Какое еще искушение! — вздернулся Наместник. — У святых отцов есть такая притча. Из жития святого Антония. Лукавый, понимаешь, жалуется преподобному, что люди часто на него клевещут. Сами грешат, а потом все сваливают на него. Что он их вроде бы искушал. А на самом деле — он был ни при чем.  
— Да ладно, — отмахнулся келейник. — Как же! Ждите от него! Ни при чем он! Так вы ему и поверили!  
— Так это ж не мы, это святой Антоний!  
— Лучше пусть этот ваш лукавый расскажет, как он последнюю воду в пустыне в песок выливал, чтобы только преподобному Антонию она не досталась! — возмущенно проговорил келейник и даже сплюнул в сторону.  
Этого хамства наместник, конечно, не мог стерпеть. Но поклончиков в этой экстремальной ситуации все же решил не накладывать:  
— Во–первых, это не «наш» лукавый. Это лукавый, так сказать, общий, лукавый как таковой. Сатана. Во–вторых, эта история известна нам от величайшего святого. А в третьих, веди себя культурно, позоришь ведь только рясу, чудишь!  
— Да я не то хотел сказать, что лукавый этот — ваш, а просто, что он — из вашего рассказа. А что он и самому святому Антонию мог соврать, так это как пить дать. Хотел подкупить его своей откровенностью: дескать, люди сами грешат, а все на меня валят. Чтобы преподобный Антоний расчувствовался и отвлекся от духовной борьбы. А лукавый его тут-то и цап–царап.  
И келейник сделал над головою наместника выразительный жест рукой — словно бы он сворачивал невидимому противнику шею.  
— Не о том речь, — вмешался Дионисий. — Лукавый, конечно же, искуситель и отец лжи — кто с этим спорит. Но отец Наместник имел в виду, что и сама человеческая природа испорчена. Человек может по одной лишь падшей своей природе грешить в собственное удовольствие и даже не замечать. Ну, по глупости или еще по чему. Глупость же человеческая — большая беда. А лукавый может оказаться и ни при чем.  
— Так, а кто природу человеческую испортил, кто? Эх, ты, простота! Он же ее и испортил, лукавый твой. Кто им яблоко-то подсунул в раю?  
— А свобода? — сказал Дионисий. — Ева могла и не послушаться змея, Адам мог бы и Еву как-нибудь пристыдить…  
Келейник от досады даже заткнул уши:  
— И слушать не хочу! Он их — искушал? Искушал! А вы говорите — это они сами, а он, значит, чистенький, не виноватый он, ни с какого бока, может, еще и в ножки ему поклониться за это?  
Потом, когда уже поехали к владыке, он все-таки уши открыл:  
— Да всюду он, лукавый этот. Вот даже вложит, к примеру, монаху помысел и тут же заглядывает ему в лицо: что, как, принял тот его наживку или нет. В глаза заглядывает: по глазам-то все видно. Фу, мразь. Ни одно дело здесь не обходится без него — везде наследит…  
И точно — у архиерея ждала архимандрита Нафанаила буря. Епископ кинул перед ним подшивки газет, в которых на разные лады клеймили Свято–Троицкий монастырь за «связи с мафией». Речь, конечно, шла о пещерном захоронении. О том, что братия монастыря «превратилась в братву». Ну и так далее. И вот владыка опять крикнул отцу Наместнику это свое «тебе — доход а мне — на приход». И повторял это много раз. Видимо, когда-то ему самому это показалось удачным. И потом это у него прижилось. То есть он стал употреблять это выражение и с другими священниками. Владыка сказал, что получил сигнал даже от священноначалия из Москвы, они просят принять срочные меры, прежде всего — перезахоронить скандального мафиозо, а кроме того — подумать о том, насколько на этом месте целесообразен такой наместник. И тут же владыка, не дав отцу Нафанаилу опомниться, вложил ему в руки указ о том, чтобы он с этого дня сложил с себя наместничьи полномочия. С этим он выпроводил несчастного архимандрита.  
Вместо него был временно назначен игумен Платон, который тут же и предписал архимандриту Нафанаилу освободить наместничьи покои, перейти в келью в братском корпусе и заступить на новое послушание: он был послан на курятник и становился ответственным за кур.  
Таким образом, монашеская карьера бывшего наместника Свято–Троицкого монастыря архимандрита Нафанаила закончилась там, где она некогда началась для молоденького послушника Дионисия.  
— Слава Богу за все, — как бы себе самому тихо произнес бывший наместник, выходя на новое послушание. — Воистину тот человек, Виталий, был очень, очень грешный… По мощам и миро, — заключил он.  
А игумен Ерм, получив полную самостоятельность и абсолютную свободу, первым делом крепко запер монастырские ворота и открывал их только для своих проверенных людей. Больше его не интересовали Свято–Троицкие события, и он демонстративно позевывал или переводил разговор на другую тему, как только речь заходила об этом монастырском соседе. А то и просто вставал и уходил. Не интересовали его и бурные московские церковные события. Он ревностно обустраивал собственную обитель, призванную стать образцовой. Его волновала идея соединения Церквей. Именно здесь, в его — Преображенском — монастыре, они и должны были соединиться, преображая весь мир.  
К нему ездили серьезные люди, с которыми они обсуждали эти вселенские проблемы. Были какие-то католические миссионеры, даже кардиналы. Какие-то православные заштатные священники–латинофилы, честно говоря, несмотря на некоторый внешний лоск, все же какого-то траченного вида. Особенно насторожило меня появление там одного игумена, тоже теперь заштатного и тоже, оказывается, латинофила. Я знала, что он сделал свою карьеру, работая в советские времена в иностранном отделе Патриархии, называвшемся в ту пору не вполне благозвучно — «Отделом внешних сношений», и вспомнила, как отец Ерм некогда шуганул старого чекиста, жаждавшего покаяния, заодно отлучив от себя иеромонаха Филиппа, который его привез.  
Приезжали и просто паломники, лишенные каких-либо католических интересов, — и мирские, и монашествующие, и иереи Божии: ехали к нему как к человеку высокой духовной жизни, подвижнику, иконописцу.  
Таким он с ходу принимался читать страницы из Фомы Кемпийского и спрашивал:  
— Ну, кто это написал, узнаете?  
Ему говорили:  
— Похоже на святителя Феофана Затворника.  
Или:  
— Кажется, это Димитрий Ростовский.  
Или даже:  
— Да это же сам святитель Иоанн Златоуст.  
Игумен ухмылялся, а потом вдруг ошарашивал:  
— Нет, это никакой не Феофан Затворник, не Димитрий Ростовский и тем более — не Иоанн Златоуст. Это католический святой Фома. И о чем это, по–вашему, может свидетельствовать? О том, что дух — един.  
А то — он показывал гостям только что написанную икону «Прибавление ума»:  
— Видали в православных храмах такую?  
Ему отвечали:  
— Конечно, известное дело, лаврские академисты и семинаристы перед экзаменами к ней усердно прикладываются…  
— А знаете, что это католическая икона? — спрашивал отец Ерм. — Да–да. Называется она «Лоретская»…  
Ну и много было у него таких загадочных зачинов…  
— Кто православную «Невидимую брань» написал?  
— Как кто? — отвечали ему. — Никодим Святогорец.  
— А вот и нет, — радовался он, как ребенок. — Никодим ее только перевел. С латинского. А написал ее католический монах Скуполи. А наша великопостная служба «пассия» — откуда пришла? Не знаете? Из католической церкви. А разрешительная формула в православном чине исповеди — от кого? От католиков.  
Многие из приезжавших к нему и недоумевали, и соблазнялись. Таких он называл «кликушами» и «старыми бабками». Но в основном вокруг него царила атмосфера восторга и преклонения. О нем говорили, что он — «великий православный иконописец», «человек с безупречной репутацией», «идеальный монах» и даже «высочайший духовный ум». Поражались тому, что он знал наизусть Евангелие, Псалтирь и целыми страницами мог цитировать по памяти Святых Отцов. Постоянно слышалось: «Вас здесь некому оценить», «До вас надо еще духовно расти и расти», «Вы пишете куда глубже знаменитого архимандрита Зинона из Даниловского монастыря…».  
Отец Ерм только улыбался и опускал голову. В эту пору он был особенно щедр — раздаривал направо–налево свои драгоценные иконы, веря в то, что они и в заморских краях будут выполнять некое миссионерское служение.

Мне он с самого начала своей скитской жизни отвел место возле себя — на маленьком хуторе, где жил тот самый бывший начальник волжского пароходства, который когда-то помогал ему с первыми скитскими постройками. Это был видный и крепкий старик, похожий на самого Николая Угодника, с круглыми светлыми глазами и волнистой густой седой шевелюрой до самых плеч. Да и звали его Николай. Николай Петрович.  
В те времена я приезжала к игумену Ерму часто — иногда дня на два, иногда — на неделю, а несколько раз в году жила у Николая Петровича и по целому месяцу. По вечерам он рассказывал мне «всю свою жизнь»: каким великим грешником был он до этой мирной скитско–монастырской жизни. Как пьянствовал по всей Волге, заводил в прибрежных городах жен, одаряя их детьми. Как за каждую проходящую через шлюзы баржу брал мзду. Как гулял по Волге–матушке с самим писателем Шолоховым в окружении вакханок. Как торговал алмазами и зарывал клады. И как потом заболел. Голова задергалась–затряслась, голос хриплый стал самовластно выкрикивать всякую похабщину из самых нутряных недр, пена шла изо рта. Наконец он увидел сон: тонет он в мутной воде, захлебывается, а мимо проплывает прекрасный корабль, освященный солнцем. А на корабле — монахи. «Спасите!» — кричит Николай Петрович. А монахи с корабля ему отвечают: «Плыви с нами и спасешься».  
На следующий день прямо поутру взял он котомку и приехал в Троицкий монастырь, где старец Игнатий вычитывал бесноватых. Целых три года молился о нем этот чудный старец, пока наконец не освободил старика от мучавшего его беса. Тогда Петрович купил этот хутор, завел хозяйство, собирал на зиму ягоды и грибы, подрабатывал певчим в одном из Троицких храмов и помогал отцу Ерму восстанавливать Преображенский монастырь.  
Жил он полным анахоретом и никого к себе не пускал. А если кто-то, бывало, и заходил к нему за какой-то надобностью, Петрович грозно спрашивал его на самом пороге:  
— Отрицаешься ли сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всея гордыни его?  
И пришедший должен был отвечать, как положено:  
— Отрицаюся!  
Иначе перед ним бы немедленно захлопнулась дверь.  
Но за меня просил сам отец Ерм, и мы с ним, как положено, отреклись от сатаны, прежде чем войти к Петровичу, и тот проникся ко мне доверием, так что всякий раз, встречая меня, лез в подвал и доставал оттуда трехлитровые банки с заготовками «на случай войны» — там были какие-то уже покрывшиеся плесенью соленые огурцы, грибы, помидоры, тушеные куры и даже кролики. Но с особенной гордостью он выставлял на стол свои немыслимые и ужасные самогонные настойки, в которые он добавлял то растворимый кофе с корицей, то гвоздику с луком и чесноком, то корни лопуха, ну разве что не толченых тараканов и пауков. Плоды его фантазий действовали на организм столь болезненно и зловеще, что я даже порой думала, а не хочет ли он меня попросту отравить? Но нет! Там, где я делала крошечный брезгливый глоточек, он, морщась, выпивал полстакана и тут же плескал себе еще.  
Все, что он доставал из своего подземного загашника и ставил на стол, он называл «деликатес»:  
— Вот тебе еще деликатес! А вот еще — тоже деликатес!  
Потом мы молились перед трапезой, и он мне устраивал, как это он сам называл, — наверное, от кого-то услышал и ему понравилось, — «духовное обслуживание»:  
— Надо бы тебя духовно обслужить.  
Часто это обслуживание у него начиналось с того, что он задавал мне какой-нибудь вопрос, ну, например: «Что значит молитва «Отче наш»?». И выслушивал со снисходительным, хотя и довольно каверзным выражением на раскрасневшемся лице. Все это нужно было для того, чтобы тут же меня осадить своим «а вот и неправильно» и потом уже растолковывать это самому, то и дело устремляя к небесам корявый указательный палец. Но его толкования были такими замысловатыми и сопровождались такими живыми картинами — потому что даже тело его участвовало в этой неподражаемой экзегезе, — что когда он, закончив, строго восклицал: «А теперь повтори», я чувствовала себя совершенно подавленной полнейшей невыполнимостью его духовных заданий.  
Но и среди них, этих заданий, был у него свой «деликатес». Он заключался в том, что мне надо было только про себя загадать какого-нибудь человека, а он молился и отвечал, «от Бога этот человек или нет». Честное слово, я уже однажды поддалась на его уговоры и влезла в этот эксперимент. Подумала я, конечно же, об отце Ерме. И вот Петрович напрягся, даже затрясся от внутреннего усердия и выдохнул с облегчением: «От Бога». А потом я вообразила себе Анну Стрельбицкую, и он опять набычился, налился кровью, заходил ходуном и вдруг издал хриплый нечленораздельный крик, что-то вроде «бруэ! бруэ!».  
— Нет, не от Бога, — решительно определил он, замотав головой.  
…На этот раз он потчевал меня фантастическим напитком («деликатес!»), кажется, это был самогон, настоянный на сушеных грибах, и лицо его сияло от удовольствия и вдохновения. Ибо он — проповедовал!  
— Ну, что ты скажешь, если опять придут большевики и отдадут приказ: отрекись от Христа, а?  
И сам же отвечал:  
— Я скажу: рубите мне, гады, голову, рубите, а все равно не отрекусь.  
И тут он поднялся со стула, согнулся в три погибели и ребром натруженной руки со всего размаха несколько раз врезал себе по шее: вот так, вот так!  
Это, конечно, произвело на меня довольно сильное впечатление. Оно даже на какое-то время изгнало из меня тревожные мысли о моем духовном отце, которого я в тот день искусила и спровоцировала. Да!

Потому что, наслушавшись с утра его замысловатых речей, не отгадав не только Фому Кемпийского, но и не выдержав никаких устроенных им специально для меня проверок, срезаясь на каждом шагу и падая в его глазах все ниже, а при этом тщетно пытаясь вклиниться в разговор с вестями о столь мучительных московских делах, о которых — он сразу же это заявил — ему не хочется ничего и знать, и, наконец, просто желая исключительно переменить тему, ее опасное направление, почудившееся мне в словах отца Ерма: «Да вы бы, что ли, почитали о католичестве! Поехали бы его изучать, да хоть в Медон!» — я вдруг ни с того ни с сего рассказала ему, как когда-то мы ездили с Анной Стрельбицкой в Лавру на Благовещение. Мы собирались ночью поисповедоваться в храме, там же переночевать на раскладном стульчике и причаститься за ранней литургией. Странно, но отец Ерм стал с интересом слушать.  
После всенощной, когда священники вышли на исповедь, мы выбрали себе, как нам показалось, милого, интеллигентного, милостивого иеромонаха, встали в очередь. Он, кажется, с самого начала заприметил двух столичных дамочек в белых шубках — локон из-под платочка, узенький сапожок. Подумал, наверное, ну сейчас я этих штучек смирю! Сейчас я им врежу за их грехи! А мы — ах, ну не то что бы были совсем не так уж обременены грехами, как ему казалось, нет, нет, но просто эти грехи наши были недавно уже поисповеданы и нам отпущены: Великим постом мы из церкви почти и не выходили. А те беззакония, что остались еще на нас и которые мы тщательно припоминали для него, успели накопиться за каких-нибудь три–четыре дня — после последней воскресной литургии. Нет, конечно, и их было предостаточно, как говорится, «паче песка морскаго» и «выше главы моея», к тому же и эти дерзновенные наши повадки, и эти эмансипированные взоры, но все же, все же…  
Анна подошла первой и долго–долго что-то говорила ему. Когда она закончила, он спросил:  
— Как, и все?  
— Все, — растерянно выдохнула она.  
— Ну так пойди подумай, может, еще что-то вспомнишь.  
Я оказалась сообразительнее. Сообщила ему сразу, что исповедовалась три дня назад. И он не стал меня особенно пытать.  
Я нашла Анну на галерее, которая тянулась вдоль храма. Она ходила туда–сюда и что-то старательно припоминала, засунув руку в карман. Наконец она извлекла оттуда нечто и стала машинально покусывать… Часы на монастырской звоннице пробили полночь. И тут она воскликнула: ах!  
— Ах! — вскричала она. — Ведь уже полночь. А после полуночи есть нельзя. Все пропало! Я только что семечку проглотила — болталась она у меня в кармане, а я ее вытащила и начала грызть.  
И она отправилась назад, в храм.  
— Ах, так вы семечку сгрызли после двенадцати? Теперь вам причащаться нельзя! — сказал иеромонах.  
Так она на это Благовещение и не причастилась.  
Такая вот история. Только я закончила, как ясно почувствовала: это же известно кто вложил мне в голову помысел рассказывать ее отцу Ерму здесь и сейчас! При этом этот «известно кто» наверняка заглянул мне в лицо, в глаза — как, приняла? Подтолкнул — давай!  
Отец Ерм был поражен, крикнул:  
— На что же это похоже! Человека за семечку от Святого Причастия отлучать! Какое идолопоклонство!  
Созвал своих послушников, сказал:  
— Все! Отныне мы к причастию не готовимся, поняли? Отныне мы перед причастием чай пьем, можно даже с булкою, вот так! А что — католики, между прочим, и после обеда мессу служат, и вечером, и когда хотят! Или вы думаете, великая Церковь понимает что-нибудь хуже, чем мы?

Итак, я сидела и глотала самогонную бурду Петровича, пахнувшую то ли гнилыми зубами, то ли мужским носком, и пока он бил себя с размаха по шее, давешняя история о семечке вроде уже и не казалась мне такой уж соблазнительной, роковой… Да и сама Анна вовсе и не была ею смущена. «Знаешь, — сказала она тогда же, после литургии, — я не жалею, что он мне не разрешил причаститься. Такой опыт наверняка тоже необходим…»  
А впрочем, — вдруг подумала я, — очень даже может быть, что отец Ерм сказал про чай с булочкой просто так, от возмущения, сгоряча… Вот остынет, и все пойдет своим чередом…  
И все же мне было не по себе. Какое-то было чувство, словно я солгала. Ни слова не сказала неправды, а солгала. Да, бывает и так… А что — разве я с этим ехала к отцу Ерму, разве это смущало меня?  
Петрович, так наглядно, так образцово принявший добровольное мученичество и как бы даже склонившийся долу, вдруг вскинулся:  
— Ну, теперь давай я тебе скажу, кто от Бога, кто нет.  
— Да вы уже все мне сказали — в прошлый раз.  
— Все равно — давай, задумывай!  
Я подумала об Анне Стрельбицкой.  
Он раскинул руки, воздел их горе и — просиял, закивал:  
— От Бога, от Бога! А теперь — еще…  
Я подумала об отце Ерме. И тут он затрясся, заходил ходуном, руки его неестественно вывернулись, и он заорал:  
— Бруэ! Бруэ!  
Я разозлилась:  
— Тоже мне — духовидец! Нечестно! Только недавно было же все ровно наоборот!  
Но он все кричал это свое «бруэ, бруэ!», как настоящий безумец, я даже испугалась — не вернулся ли в него старый бес, изгнанный старцем Игнатием. Но тут лицо его прояснилось, он опустился на стул и вздохнул:  
— Даже не знаю, кто это мне все подсказывает? А хочешь, себя теперь загадай…  
— А что, отец Ерм знает про эти ваши загадыванья?  
— А как же, — он смиренно опустил глаза, — сразу, как услышал от меня про осенение, про Папу спросил.  
— А вы что же?  
Он замялся:  
— Ну я и сказал: от Бога он. А отец Ерм кивнул с довольным видом: вот–вот. Но только, — и тут Петрович поднял глаза и неожиданно мне подмигнул… Такое заговорщицкое, лукавое сделалось у него лицо.  
— Что? Что такое?  
— Только дух мне тогда ничего про него не открыл. А это я сам, на свой страх и риск.  
— Как это — сам?  
— Ну, сам. А то бы мало ли что этот дух прорек… А отец Ерм бы разгневался. — Петрович тяжко вздохнул. — Иногда я и сам не понимаю его.  
Было непонятно, кого — духа или же отца Ерма, но я предпочла больше ни о чем не спрашивать. Петрович снял с гвоздя ватник и куда-то ушел — в ночь, в снега. Я выплеснула остатки его дружественного, но нечеловеческого напитка в ведро, однако сумасшедший запах от этого лишь окреп. Теперь это была какая-то вонь.  
Я вспомнила, как в каком-то житии разбойник, убегавший от преследователей, спрятался в разлагавшуюся тушу коня и возопил к Богу: «Спаси меня, Господи, ведь они же меня убьют!» И он услышал в ответ вроде бы даже Божий глас: «Ну и как тебе там, в этом гнилье?» И разбойник зарыдал: «Так мне здесь плохо, Господи, ибо невыносимо смердит». И вроде бы Господь ответил ему: «Хорошо, Я тебя спасу, но знай, что вот так невыносимо и мне, когда ты грешишь!» И после этого избавленный от преследователей и удостоенный вразумления Божьего разбойник больше никогда не грешил, а затворился в монастыре и стал святым.  
…Наутро и чай и булочка после причастия фигурировали в разговорах послушников уже в прошедшем времени: мол, попили, поели, причастились и — «ничего». Да и не только ничего, но очень даже «чего», потому что тем самым выразили символический протест против магии и обрядоверия.  
— Церковь — это никакая не магия, — сказал Валера.  
— И не обряд, как думают некоторые, — многозначительно прибавил Славик. — Мы теперь всегда будем так. Хотя нам булки этой совсем не хотелось — не привыкли мы так рано питаться. Но — послушание! К тому же с суевериями надо же хоть как-то бороться!  
А отец Ерм сразу после литургии закрылся в своей мастерской — стоял перед большой, лежащей навзничь иконой, ее золотил.  
Когда я вошла, он, не оборачиваясь, сказал:  
— А Великого Раскола никогда не существовало — вы знаете об этом? То есть он, конечно, был, но де–юре, а не де–факто. Потому что евхаристическое общение Церквей никогда не прекращалось…  
Я сказала ему:  
— Простите меня за эту семечку. Это все ложь.  
Он ответил:  
— Какая еще ложь! Я таких историй — знаете, сколько наслушался! И потом — это все модернизм. Я имею в виду, ничего не вкушать перед причастием — это позднейшие придумки. Когда было установлено Христом таинство Евхаристии? Не помните? Во время последней пасхальной трапезы — прямо как продолжение ее. Поели и причастились. Так было и в первых христианских общинах — почитайте апостола Павла: все вместе поужинали за агапой и потом приступили к Христовым Тайнам. А у нас все перевернулось. Но надо же иметь мужество, чтобы вернуться назад!  
Я спросила:  
— Скажите, а искушение может пахнуть, ну, издавать какой-нибудь запах, смрад?  
Он ответил:  
— Это скорее всего метафора. Знаете, говорят, что деньги плохо пахнут… Простите, видите — я работаю…  
И я ушла.  
А Николай Петрович совсем куда-то запропастился, совсем пропал. Как вышел во тьму, так и канул в нее. Одну ночь не возвращался, потом другую… Ну не за ягодами же, не за грибами же отправился метельным вечерком! Запер дверь в свою комнату — и был таков. Может, потравился он своей холодящей жилы грибной настойкой, упал в обморок и замерз? А может, этот сомнительный дух куда-то его увлек за собой? Ходила, искала его по ледяной округе, видела вдалеке каких-то собак, а может, волков… И все-таки поначалу я себя успокаивала — допустим, он ушел в Троицк петь на ранней литургии, там остался до вечерней службы, а потом и заночевал в храме: все-таки семь километров по лесной дороге. Но вдруг приходит из этого Троицкого храма священник, спрашивает:  
— А где Петрович? Куда подевался? Мы на него рассчитывали — такие праздники, а его нет как нет.  
Ушел недовольный.  
Я кинулась вопрошать отца Ерма:  
— Что делать? Петрович пропал! Может, в лесу замерз?  
А отец Ерм махнул рукой:  
— Найдется, куда денется? У него полный Троицк знакомых. Сидит где-нибудь и празднует. А вы знаете, что можно было быть православным, оставаясь католиком? И наоборот. Вот, например, Максим Грек — православный святой, но он же и католический монах. Да, об этом есть запись в книге Флорентийского монастыря, коим постриженником он являлся. А то, что он писал «Против латинян», — так это полемика. Вам что, не о чем со своими православными пополемизировать? Ну хотя бы вот об этом евхаристическом посте?  
Я говорю:  
— У меня очень нехорошее подозрение. В доме припахивает чем-то, грибами, что ли, а может быть, даже газом, сладковатый такой запах, дурной… А дверь в комнату Петровича заперта. Так может, это не газ никакой? Благословите, я подставлю лестницу и загляну к нему в окно, вдруг там что увижу?  
А отец Ерм отвечает:  
— Или Александр Невский… Да, он был православный, но в то же время и католик. А то, что он сражался на Чудском озере с крестоносцами, этими «псами–рыцарями», — так это политика. А в окно это, конечно, загляните. Так что Великий Раскол — с церковной точки зрения — фикция. Позднейшие модернистские выдумки.  
В большом волнении я вернулась на хутор, а в доме еще пуще воняет. Теперь казалось, что это точно никакой не газ. Тлетворный такой дух, нехороший. Ну, честное слово, будто Петрович там, за стеной, в комнате, уже совсем того: разложился — Царство ему Небесное!.. А на дворе темно и страшно. И вокруг — ни души. Перекрестилась я, подставила лестницу и заглянула в черное окно. А оно — плотно так занавешено, ничего не видать. Тут ветер налетел, береза заскрипела, ворона каркнула — жуть.  
Я не выдержала, побежала назад, к людям, в монастырь, к игумену.  
Он сказал:  
— Дело серьезное. Если завтра утром Петрович не появится, идите в милицию. Пусть они сами дверь ломают и ищут его. Мало ли что с ним может быть. В лесу у нас волки водятся, кабаны. Да и сам — болящий. Кто знает, что ему в голову могло взбрести. А между прочим, Флорентийская уния с католиками ведь была подписана восточными иерархами, да–да! И только малодушие константинопольских архиереев, спасовавших перед возмущением городской черни, позволило это все пустить насмарку.  
Я вернулась, стараясь ни о чем не думать и ничего не бояться. Запах тления заполонил весь дом. Ни есть, ни пить было невозможно. Казалось, даже моя одежда отяжелела от этого тошнотворного духа. Я заперла засов, закрылась в комнате, и тут кто-то стал бешено стучать в дверь. Оказалось, бывший келейник архимандрита Нафанаила.  
— Петрович просит завтра забрать его из лазарета. В монастыре он там у нас. А то его аж шатает. Змею, видишь, он нашел. Она замерзшая вся, спящая… Так нет, поднял ее из-под коряги, растормошил, отогрел, думал — самый умный! — яду добыть: им лечиться-то больно хорошо, радикулит или еще что.  
А она — учудила — цапнула его. Гадюка. Искушение!  
Зловещий запах словно улетучился в открытую келейником дверь.  
— А наместника нашего разжаловали. Можно сказать, из генералов — в рядовые. Слышала? Лукавый ему отомстил. Он ведь, наместник-то наш, когда поклончики монахам давал, сам все за них клал, на всякий случай, а то вдруг его епитимья осталась бы ими неисполненной? А это нехорошо. Так вот, он вставал по ночам и — бух! Перед иконами. Бух! Бух! За каждого молился. А никто не знал, кроме меня. Вот как. Искушение! Ну, я пойду.  
— Куда ж ты пойдешь? — сказала я. — Ведь ночь на дворе, а через лес такой долгий путь!  
— Так наместник за меня молится, — ответил келейник. — Для Бога-то он все равно остался вроде как генералом. А если Господь за нас, то кто против нас?  
— Подожди, — попросила я, — вот ты, поди, все про лукавого знаешь. А скажи, если человек находится в искушении, ну, в грехе, пусть даже мысленном, может он из-за этого чуять повсюду смрад?  
— Чего? — удивился он.  
— Ну, пахнет ли искушение? — смутилась я.  
— Как пить дать, — тут же отрапортовал он, оживившись. — Ты понимаешь, лукавый, он же ведь и нечистый, так? Ну вот он и смердит, так смердит!  
И ушел.  
Чуть свет я отправилась к отцу Ерму:  
— Нашелся Петрович. Еду за ним в Троицкий лазарет.  
— Я же говорил, что найдется, — кивнул отец Ерм. И, продолжая вчерашний разговор, спросил: — А что, по–вашему, нужно, чтобы упразднить разделение, чтобы соединить Церкви? Лишь признать примат Папы Римского. И все. А что вы возмущаетесь?  
Я пожала плечами, потому что я совсем даже не возмущалась. Я просто ждала, когда ветер переменится и отец Ерм постепенно начнет охладевать к Папе, так же как когда-то он охладел к старообрядцам и «цивилизованному миру».  
— Это же канонически легитимно, — объяснял он, — ведь Римская Церковь — первая. Потом — Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Иерусалимская, а потом лишь Русская… Историю надо знать. Что вы заладили — Православие, Православие…  
По лесной дороге машины в это время года уже почти и не ездили. Пришлось идти на шоссе и делать крюк в двадцать пять километров.  
Мужик, который меня подобрал, наверное, решил меня развеселить и задал вопрос:  
— Скажите, вы могли бы полюбить радикала?  
— Что-что? — строго переспросила я.  
— А вот и неправильно, — взорвался он вдруг бешеным хохотом. — Вы должны были спросить: ради чего–чего? Ну что — дошло? Это я вчера по телевизору слышал…  
Троицкий монастырь было не узнать — монахи сновали мимо с каменными озабоченными лицами, а один — так даже шарахнулся от меня. Лишь Иустин помог найти монастырскую машину для Петровича.  
— Она меня укусила, потому что я сам к ней полез, — объяснял Петрович. — Была уже замерзшая, безобидная, а я ее стал бередить, крутить, дразнить… Вот как. А не трогал бы, был бы сейчас целый.  
Морщась, он поглаживал перевязанную корявую руку.  
Вечером я пришла к отцу Ерму.  
— Вы думаете, есть подлинное единство у Поместных Православных Церквей? — спросил он. — Ничуть. Каждая сама по себе. А почему? Потому что нет единого авторитета, каким бы мог быть Папа. Только он может в духе и истине соединить все Христовы Церкви, восстановить должную вертикаль власти, внести непререкаемое единоначалие и противостоять напору антицерковных сил. Его вселенскость должна положить предел секулярному глобализму…  
Мы сидели с ним в его мастерской. Вокруг на скамейках, прислонившись к стене, стояли его новые иконы — святые были на них с католическими тонзурами на головах. Но я мысленно сказала себе, что они, может, просто пожилые — ну, Николай Угодник, Григорий Богослов, первомученик Стефан. Вроде как им так и положено, вроде как облысели, что ли.  
— Нет, я в католичество переходить не собираюсь, — продолжал отец Ерм, — этого от меня никто и не хочет, это и не надобно: какие переходы, когда Церковь в мистическом плане — едина? У нас общий Символ веры — ведь они отказались от филиокве, вы знаете? Мы признаем их таинства, их священство, как и они признают наши. Так что — какие переходы? Ну что вы смотрите на меня с таким ужасом? Где вы видите измену вере? В чем это я предаю Церковь? Это все невежество. Бабкины пересуды. Кликушество. Что вы все время плачете, как будто у вас кто-то умер?  
Ах, я не плакала, хотя мне вдруг стало ужасно грустно. Я просто вдруг поняла, что мне здесь совершенно нечего делать. Привезла человека из лазарета, и теперь все! Плачь, пой, гуляй, отдыхай, трудись… Но только — живи своей жизнью. Есть такое качество собственной жизни — «своя», «не своя», «чужая»… Это как в песне про какого-то казака. Вот он стоит, казак молодой, перед дверями, «убивается», а ему выносят каждый раз из этого дома что-нибудь этакое — то шапку беличью, то шубу соболью, то саблю вострую, а то и «сундуки, полны добра», а он на все это роскошество — «это не мое, это не мое!» То — «это батюшки маво», то — «это зятя моего», а то — «это враженьки маво», ну и так далее. А потом — «вывели ему вороного коня», а он опять — «это не мое, это не мое, это братушки маво». Много чего ему еще и выносят, и выводят, но все это он не принимает, все это, говорит он, «не мое». А что для него — «мое»: «это вот мое, это вот мое!»? Оказывается, некая Настасьюшка, — вот это, «Богом суженое, Богом ряженое». Прекрасная такая песня. Ее в свое время — еще на Афонской горке — чудно так певали на два голоса Дионисий и сбежавший из монастыря «ради бабы» византийский регент… Вот и допелся.  
— Повторяю, я никуда не перехожу, — твердо произнес отец Ерм. — Единственное, что я не могу не признавать легитимность Первого епископа — Папы. Да, я собираюсь его поминать на литургии, я уже его поминаю! Вы слышите? И что?  
Сделалось невыносимо тревожно, душно. Может быть, я все-таки отравилась газом у Петровича, да еще и почти не спала, вся энергия во мне застопорилась, я сникла.  
— Вы бледны, — испугался вдруг отец Ерм. — Вам что, плохо? Пойдемте на воздух. Хотите, я вас провожу?  
Мы вышли в мутную февральскую мглу. Ветер клубил по небу суровые тучи. В лицо хлестала морось. Меня бил озноб.  
Отец Ерм сказал, уже очень мягко, безо всякого напора:  
— Повторяю, без Папы мы пропадем! Что, Патриарх наш имеет хоть какой-то авторитет? У нас каждый священник на своем приходе — сам себе и папа, и патриарх, и старец. Что хочет, то и городит. Это же раскольничий потенциал! Успокойтесь. Я начну с малого — у меня будет такой православно–католический монастырь с единой Евхаристией. Из единой чаши и католики будут причащаться, и православные… Это и означает соединение Церквей. А о чем вы молитесь за литургией? О соединении святых Божиих Церквей… Вот они здесь у меня и соединятся. Уже соединяются, соединились! Да успокойтесь же, в самом деле!  
Мы шли и шли в ненастную ночь. Вдали брехали собаки, и луна ощупывала нас ядовитым своим лучом. С неба лилась какая-то муть: вода — не вода, снег — не снег.  
И вдруг что-то резко переменилось, понеслись ледяные потоки. Сначала застучал поодаль, потом посыпался повсюду огромный град. Град величиной с перепелиное яйцо. Он бил нас по головам, по плечам, ударял в ссутулившиеся спины, ледяная градина угодила мне за воротник. Я с брезгливостью достала ее и ахнула: она напоминала большой раскрытый человеческий глаз. Да–да, из нее на меня глядел черный зрачок.  
Мы кинулись бежать назад, в монастырь. Но град не отпускал нас, и все падали, падали, сыпались с неба эти страшные глаза, покрывая стылую стонущую землю. Наконец мы домчались до мастерской. Я прихватила с собой градину, валявшуюся у порога. Мы положили ее на блюдце и долго разглядывали светлую роговицу, кропотливо сработанную радужную оболочку и бездонный зрачок.  
— Что это за знамение? — поежилась я. — Древние халдеи так представляли смерть — она сплошь усеяна множеством глаз.  
Игумен Ерм поморщился.  
— Терпеть не могу такого рода мистики.  
Положил глаз себе на ладонь и вдруг стал расколупывать его пальцами.  
— Может, не надо, — попросила я. — Пусть себе лежит как лежал.  
Но он с упорством принялся разламывать его, тереть, крошить…  
— И все-таки, — сказал он, когда глаз почти растаял в его руках и он кинул его на блюдце, — советую вам пересмотреть свое отношение к Папе. Не ожидал от вас такой косности. Конечно, вам у Петровича неуютно. Я построю вам дом — прямо здесь. Пожалуйста, живите, читайте, пишите.  
На меня в упор глядели святые с тонзурами на головах.  
— Ну и где теперь этот пристальный глаз? — спросил отец Ерм, кивая на густую жижицу в блюдце с золотым ободком.  
Действительно, все растаяло — и радужка, и зрачок.  
— Поздно. Вы устали, — примирительно сказал он. — Завтра.  
Град уже кончился, и повалил снег. Я шла, спотыкаясь об эти огромные глаза, посыпавшиеся вдруг с небес. По понятной причине я боялась на них наступить, и потому мне пришлось совершать нечто вроде танца: шаг в одну сторону и в другую — два.  
Ах, все-таки был же какой-то символ в том, как они выглядели, в том, как глядели, в том, что покрыли землю именно в этот час!  
И вдруг, даже и помимо этих обледенелых глаз, я отчетливо почувствовала, что нас всех ВИДЯТ. Нас видят со всех сторон. Мы все как на ладони. Словно убрали плотный занавес, и на нас направлены тысячи, тысячи глаз. Они глядят испытующе. Они просматривают нас насквозь. И значит, даже то, что мы думаем, даже то, что мы говорим, имеет зримый смысл, вплетается в общий сюжет, становится вещным, о которое можно преткнуться, сломать себе шею, упасть. Внешнее стало уже как внутреннее, внутреннее — как внешнее, и сама душа уже как судьба.  
Именно это я и пыталась теперь сказать внутреннему своему соблазнителю, внушить «этой лисице Ироду». Нелепо, что я при этом все еще ухитрялась выделывать такие странные пируэты, прыжки. Словно мне надо было смириться так, чтобы и не бояться вовсе в этой почти трагической ситуации выглядеть перед ним столь юродиво, столь потешно, глупо, смешно.  
Льстивый, лукавый, он действовал исподтишка, подлавливал в минуту немощи, под покровом тьмы, подвывал заодно с ветром: «Мы теперь сами можем вершить историю! Соединять Церкви! За нами сильный, богатый и щедрый Рим! Какие открываются перспективы! Сияющие вершины!» Я мысленно спросила его: «А как же тогда выкинутые в овраг униатские ангелы? А как же лисий иезуитский дух?» Мне показалось, он хмыкнул, совсем как тот глумливо посматривавший редактор. Зашелестел, заламывая кусты: «Ну тогда скажи: все пропало и все погибло… Далее ничего нет!»  
Действительно, все терялось в густом снегу. Таким замерзшим вдруг показалось поле, таким мертвым — лес! Показалось, ничего вовеки не сдвинется с места, не воскреснет, не оживет. Но я сказала, как когда-то учил меня мой духовный отец, наперекор: «Неправда, все есть, есть! Ты всегда хотел, чтобы Его не стало, но Он тебя победит! Его же Царствию не будет конца!»  
…Дома Петрович уже накрепко закрутил газовый баллон, открыл все форточки и вовсю топил печь. На ней закипал чайник.  
— Кто чем искушается, тот от того и уязвляется, — назидательно произнес он, впуская меня. — Знаешь, почему я под корягу-то эту полез, где дремала змея? Потому что я деньги хотел отрыть, там они у меня, под корягой-то… А они — тю–тю! Сопрели в этой жестяной коробке, только несколько бумажек и удалось спасти. Как раз хватит на то, чтобы подлечиться да газовый баллон поменять.  
Поставил со стуком эмалированные кружки для чая на стол. Внимательно посмотрел на меня:  
— Ты, это, того, короче, больше при мне никого не загадывай…  
— ???  
— Старец Игнатий сказал, что это… ну, недоброкачественный дух ко мне пристал. Хочет, чтобы я пророком себя объявил. Ну, чтобы у меня гордыня и все прочее… Искуситель! Он-то мне и нашептал тогда: проверь клад, проверь клад…  
К утру ветер утих. Все было завалено снегом, сияло солнце, и я, не заходя к отцу Ерму, отправилась домой, в Москву.

По вагонам ходили два глухонемых, продавали книжечки — и духовного содержания, и сонники, и гадания, и открытки с артистами и кошечками. Я купила книжечку «про последние времена». Там было написано, что святые отцы предупреждали, — монахи последних времен уже не будут жить, как им подобает: прикрывать немощную плоть травой ли, звериной ли шкурой, обитать в пустынях и пропастях земных, питаться акридами и диким медом, кротостью своей приручать львов. Монахи последних времен, оказывается, предупреждали они, будут жить, как подобает мирянам. А миряне будут жить, как бесы. Зато монахи последних времен, было сказано, будут претерпевать такие искушения, такие скорби, такие шатания в вере, рядом с которыми и спанье на голой земле, и лютая жажда пустыни, и даже многолетнее столпничество сочтутся за ничто…  
Я отложила книжечку, стала думать — почему это так? Отчего такие уж искушения, такие уж скорби? Может, в последние времена какая-то особая будет чувствоваться богооставленность? Ну как у Спасителя в смертный час на Кресте. А может, в этом будет повинна сугубая, уже генетически накопленная разнузданность самодостаточной воли, и подвиг будет состоять уже в том, чтобы собрать ее воедино и отдать Христу?  
В одном купе со мной ехала пожилая простая женщина, по–видимому, паломница — она возвращалась из Свято–Троицкого монастыря. Под нос она то и дело мурлыкала какую-то песенку. Прислушавшись, я поняла, что это какой-то акафист: то и дело звучало «радуйся! радуйся!».  
— Ну что там, в монастыре? — спросила я ее: не то чтобы вправду интересуясь, а так, чтоб хоть что-то сказать.  
Она блаженно закрыла глаза и с благоговением приложила натруженную руку к груди:  
— Благодать!

**Ортодоксикоз**

Дело в том, что мой духовный отец игумен Ерм в свое время запретил мне общаться с иеромонахом Филиппом. То есть прямо, конечно, он не говорил: «Не смейте дружить с Филиппом!» — вовсе нет. Но весьма часто повторял: «Знаете, кого он ко мне привозил? Чекиста!» И смотрел выразительно. «Впрочем, — добавлял он, — как хотите…» И далее шло: «Я никому ничего не навязываю, никому ничего не запрещаю и никого у себя не держу». Этого было вполне достаточно, чтобы я никогда больше не искала встречи с Филиппом.  
А ведь мы были с ним друзьями еще до его монашества, когда он был не отцом Филиппом, а просто Федей. И вот его назначили наместником нового московского подворья Свято–Троицкого монастыря. Подворье же располагалось в бывшем Рождественском монастыре, буквально в двух шагах от моего дома. Ну и отец Филипп взял и зашел ко мне — безо всякого даже предупреждения. Потому что у него с этим новым подворьем были очень большие скорби. А когда скорби, очень нужен дружественный человек…  
Старец Игнатий, когда благословлял его на это новое служение, говорил:  
— Помни наставления преподобного Исаака Сирина: пейте поношения как воду жизни. — И еще добавлял: — «Блаженны есте егда поносят вас и прорекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради…»  
И Филипп, конечно, насторожился и приготовился к испытаниям, ведь его любимый старец ничего такого не стал бы говорить понапрасну.  
Филипп когда-то рассказывал мне поразительную и даже забавную историю, связанную с прозорливостью старца Игнатия. Еще когда он был насельником Свято–Троицкого монастыря, выпало ему ехать ко Гробу Господню, и пришел он за благословением к старцу. Тот сказал:  
— Ехать-то поезжай, да только не в Иерусалим, а в Москву, не ко Гробу Господню, а прямехонько в больницу и попроси их получше тебя обследовать.  
Филипп удивился, ибо, несмотря на хрупкость и видимую немощь своей плоти, ощущал в себе богатырский дух и в больнице ему явно было нечего делать, а ко Гробу Господню очень ему хотелось попасть. И решил он так: приеду в Москву, быстренько — «за послушание» — сдам анализы у знакомого врача и улечу в Иерусалим. Однако на ступеньках больницы его вдруг стал колотить озноб, стало мутить, и когда он вошел в кабинет, врач, глядя на него, произнес:  
— Ну все, братец, гепатит!  
Так Филипп не попал ко Гробу Господню, а оказался в карантинном отделении. Там ему как священнику выделили отдельную палату — между прочим, с телефоном, который был спарен с врачебным, и даже с телевизором, к которому он постепенно и пристрастился, находясь в полнейшем затворе, и даже прикипел к какой-то многосерийке. И вдруг как-то раз около полуночи ему раздается междугородний звонок. Он взял трубку и услышал:  
— Ну что, думал, сдам анализы, сбегу в Иерусалим…  
— Отец Игнатий! — только и воскликнул Филипп.  
А тот продолжал:  
— Пост в самом разгаре, а он знай себе телевизор смотрит — все подряд — и сериалы, и про любовь, и про чекистов.  
— И про Ленина, отец Игнатий! — в покаянии возопил Филипп. — Простите, больше не буду.  
— Вот и правильно, — отозвался отец Игнатий.  
Филипп провел всю ночь в мистическом трепете и восторге — откуда он узнал? Ну хорошо — этот знакомый врач, устроивший его сюда, — частый паломник Свято–Троицкого монастыря. Старец мог знать его телефон. Мог ему позвонить, а тот ему и настучал: «Лежит ваш монах, ничего не делает, целыми днями сериалы смотрит». Однако наутро врач наотрез отказался от предположения, будто бы он каким бы то ни было образом информировал старца.  
— Да и зачем мне это нужно? — возмущался он. — Да я и не знал, что вам нельзя смотреть телевизор!  
И Филипп успокоился. Но поразительно, что в этот самый день должны были показывать последнюю серию злополучного фильма, где должны были быть расставлены все точки над «i», и вот Филиппа одолел страшный соблазн все-таки узнать, чем там все кончится, кто убийца, в конце концов… Он изнывал от любопытства и томления. Наконец он решил, что ведь обещал-то он старцу больше не смотреть телевизор, но ведь он же не обещал этот телевизор не слушать. К тому же, если бы он его сейчас включил и убрал бы изображение, это получился бы уже не вполне телевизор, а радио. А насчет радио у них с отцом Игнатием уговору не было. Поэтому он с замиранием сердца и врубил звук. Даже отвернулся для верности. Первые же и единственные слова, которые грянули ему в уши из запретного ящика, были: «…этого же нельзя слушать». Выхваченные из какой-то фразы, они громыхнули для Филиппа грозным предупреждением его всевидящего старца, которому он по свободной воле поручил свою послушную душу.  
И вот теперь испытания, о которых предупреждал его старец, навалились на него со всех сторон. Прежде всего, выяснилось, что Рождественский монастырь уже был занят общиной некоего священника Петра Лаврищева. В перестройку, когда для того, чтобы открыть храм, требовалось всего–навсего двадцать подписей потенциальных прихожан, этот отец Петр открыл две прекрасные церкви — одну в Рождественском монастыре, другую — Введенскую — на соседней улице. В одной он служил, а в другой устроил нечто вроде лектория — катехизаторские курсы.  
Но времена поменялись, и Патриарх решил, что в бывших монастырях все же должны возрождаться монастыри, а в приходских храмах — церковная приходская жизнь. Поэтому-то он и издал указ, в котором отцу Петру Лаврищеву с его общиной отходила Введенская церковь, а Рождественский монастырь объявлялся подворьем Свято–Троицкого монастыря с наместником иеромонахом Филиппом во главе.  
Но отец Петр Лаврищев был особый священник, особый человек. И он как-то так настроил свою общину, словно Патриархия их вовсе выгоняет на улицу, и не просто так, а из-за того якобы, что они очень уж прогрессивные, и потому активное сопротивление иеромонаху Филиппу, который все время потрясал указом Патриарха, воспринималось лаврищевцами как религиозный долг, исповедничество и страстотерпчество. Филипп то и дело слышал от них, что он «большевистская сволочь», «апологет красного террора», а кроме того — «Каин» и «Иуда». Как так могло получиться?  
Ну, может быть, потому, что отец Петр поддерживал некий сугубый дух в свой общине. Все время повторял:  
— Наша община — элитарная, интеллектуальная. Самая интеллигентная община в Москве, а значит — во всей России. А церковным большевикам это не нравится.  
Под «церковными большевиками», кажется, он подразумевал всех православных, которые не принадлежали к его общине. И так получалось, что он постоянно противопоставлял себя со своими прихожанами всей Русской Церкви. Ну, она дремучая, красно–коричневая, консервативная, а лаврищевцы — свет миру, соль земли. И его овцы ему верили. Да. Потому что это очень приятно осознавать себя таким «пупом земли». Ну и кроме того — он обещал им провести церковные реформы, и потому эти его лаврищевцы ощущали себя как бы некими мартинами лютерами, кальвинами и даже цвингли. Такой у них был дух избранничества, мессианства и реформаторского героизма. Такая щекочущая нутро эйфория…  
А что? Этот соблазн элитарности и реформаторства — разве по своей мощи он не может поспорить с самим Эросом? Разве он сам — не искаженный Эрос?..  
Концепция отца Петра была такова: историческая Церковь отяжелела от пустых ритуалов и осквернилась от общения с государством. Ее нужно заменить системой легких и подвижных общин, по типу первохристианских. Каждая такая община, во главе которой стоит епископ, по сути уже есть Поместная церковь и потому имеет в себе всю церковную полноту. И отец Петр устроил у себя именно такую общину, а себя почитал как бы ее тайным епископом. Какие-то у него ходили общинные — тоже тайные, не известно кем рукоположенные, скорее всего, им же самим, раз уж он возомнил себя архиереем, — доморощенные пресвитеры. Какие-то эмансипированные диаконисы… Но самое главное — у него, по примеру первохристианской церкви, устраивались агапы — вечери любви. В принципе, это существовало в древней Церкви, но у Лаврищева эти агапы приобретали качество какого-то нового восьмого таинства, призванного восполнить Евхаристию.  
Для соблюдения церковной дисциплины вся община отца Петра, значившаяся у него в сугубых списках, была разбита на «десятки», во главе которых и стояли эти его «пресвитеры». И вот каждая такая «десятка» должна была после воскресной литургии совершить на дому агапу. Поразительно, что я, не будучи никаким членом общины, ухитрилась прямо накануне роковых событий попасть на какую-то самую важную, центральную или даже генеральную агапу. Поэтому-то я и узнала многие вещи о лаврищевцах из самых первых уст.  
В общем, естественно, что при такой идейности, организованности, взаимосвязанности и целеустремленности лаврищевцы ни за что не хотели пускать иеромонаха Филиппа в Рождественский монастырь. А что? Они там прочно обосновались — в церкви служили, в церковном домике были у них собрания, а Введенский храм, повторяю, существовал для расширенных заседаний. Ну кому охота тесниться и переселяться? К тому же они воспринимали патриархийные притязания как открытые гонения на себя.  
Но тут был еще один момент: никакому другому священнику, кроме отца Петра, никогда бы не позволили так сопротивляться административной власти своего священноначалия: сказали бы «ты — чего?», вкатили бы дисциплинарный выговор и отправили бы за штат для острастки. А тут чувствовалось, что Патриархия явно пасует перед его общественными связями… Еще бы — как раз в это время ездил один из московских викарных архиереев в Америку, так ему там недвусмысленно сказали, что американский Сенат очень недоволен Русской Церковью и выражает свою обеспокоенность в связи с ее гонениями на видного миссионера отца Петра Лаврищева и его общину. Архиерей приехал перепуганный и все повторял Патриарху:  
— Не будем дразнить гусей, Ваше Святейшество! Не будем дразнить гусей!  
Итак, отец Филипп прибыл на место событий в Москву с двумя симпатичными, но довольно бестолковыми монахами, которых ему пожертвовал наместник Свято–Троицкого монастыря архимандрит Нафанаил, поскольку хороших, дельных, духовных людей ему было жалко отдавать: «Исполнительные монахи нам и самим нужны!»  
Даже поселить этих двух бедолаг было негде: лаврищевцы заперли церковный домик и наотрез отказались пустить туда, как они выражались, «красных наймитов», «полицейских псов Московской Патриархии». И что? Филипп повез их к себе домой, где он когда-то жил с матерью и отчимом.  
Мать умерла, а отчим здравствовал. Он был известный сценарист, запойный пьяница и земляк всех кубанских казаков, которые, особенно в последнее время, постоянно втягивали его в свои акции, вытаскивали на свои сходки, а нередко и сами сходились у него «на разговор» и «на ночлег». Филипповых монахов он принял с распростертыми объятьями, несмотря на то, что у него гостили уже двое «станичников»: румяный добрый молодец и железнозубый казачий атаман — оба в казачьей униформе и при холодном оружии.  
Но беда была не в том, что монахи претерпевали какое-то стеснение, живя вместо монастыря на квартире, и не в том, что они не могли найти общий язык с казаками, а в том, что они слишком даже поспешно его отыскали, и пока Филипп мотался по городу — от отца Петра к епископу, от епископа — к благочинному, в доме лилась горилка, а будущие насельники Рождественского монастыря, все более увлекаясь застольным благовествованием среди станичных неофитов и представителя упертой московской интеллигенции, каковым являлся Филиппов отчим, как-то почти незаметно приобщились к общей трапезе. Напрасно Филипп разводил их по разным комнатам и вкладывал в руки своих монахов Псалтирь, напрасно посылал их молиться по московским храмам, — к вечеру он заставал всю честную компанию за столом, да и еще и ряженой: на добром молодце был подрясник, на одном из монахов — казачий мундир, другой сидел и вовсе с голым торсом, перехваченным крест–накрест монашеским параманом, отчим красовался в бухарском халате и тюбетейке, и только железнозубый атаман пировал в несвежей тельняшке. Привозная горилка у них закончилась, и они пили простую «Смирновскую» из киоска.  
Филипп ужасно страдал. Он чувствовал, что его наместнический авторитет рассыпается в прах: мало того, что он завез монахов к этому безумцу в бухарском халате с его землячками, мало того, что он целую неделю не мог попасть в свой монастырь, его теперь при всех — при казаках и его собственных послушниках — называют «мальцом», «охламоном» и «Федькой»!  
— Бывай, малец, — приветствовал его отчим, сгребая в охапку и целуя пьяными родительскими губами. — Ишь, в монахи пошел, охламонище Федька!  
— Полно тебе, Василий Васильевич, — отстранялся от него Филипп. — Смотри, и сам напился, и казаков своих, и монахов напоил! Змей ты искуситель! А сам все о спасении России кричишь.  
— Врешь, Федька! — кричал на него с пьяным пафосом отчим. — Ты только Россию не трожь, сынок. Думаешь, рясу-то черную на себя надел, от мира отгородился и теперь вроде судии на нас покрикивать право имеешь?  
Казаки загалдели.  
— От мира отрекся, теперь уж нам не мешай! — гневно зарычал атаман.  
— Все спасение России — от казаков, — важно заявил добрый молодец. — Старец один сказал.  
— Какое от вас спасение! — возопил Филипп, — Пьете — не просыхаете да словно ряженые митингуете, вместо того, чтоб…  
— Ты казаков моих не трожь, — взъярился Василий Васильевич, — твое дело — молитва, наше дело — битва, вот как. Гусь свинье — не товарищ.  
— Ну это как понимать, — встрял вдруг один из монахов, — вы воюете, мы молимся, так? Но молясь, мы воюем, а вы воюя молитесь. Вот ведь как. Воинство Христово.  
— На кого ты похож? — напустился на него Филипп. — Не монах, а чучело. Ну-ка, надеть подрясник! Он молитвами преподобных освящен, он мученической кровью залит, а ты его кому ни попадя отдаешь! А тебе, Василий Васильевич, — он вдруг понизил голос и сказал это почти шепотом, но очень твердо, — я тебе не Федька, а иеромонах Филипп, отец Филипп, понял? — А вам, олухи, убрать со стола, — скомандовал он казакам. — Один моет, другой чистит, один вытирает, другой подметает. И чтоб в доме было чисто через пятнадцать минут. Потому что через двадцать мы все будем молиться.  
И действительно. Поставил их на молитву, а Василий Васильевич так даже опустился на колени, уперся лбом в пол да так и не поднимался до последнего «аминь».  
Но так не могло больше продолжаться. Стремительно приближалось Рождество, монастырский храмовый праздник. На Рождественский сочельник собирался нагрянуть наместник Свято–Троицкого монастыря архимандрит Нафанаил, да еще и предупреждал, что с ним может пожаловать и его епархиальный архиерей Варнава, а у отца Филиппа не было ни доступа к своему храму, ни ключа от церковного домика. Напрасно он пытался связаться с отцом Петром, — тот отвечал презрительным молчанием. Напрасно апеллировал к его ближайшему помощнику господину Векселеву, которого так и хотелось назвать за мрачное сходство Урфином Джюсом, тот вздыхал и, закатив к небу глаза, заявлял:  
— Сами мы храм Божий не покинем, вы нас можете только расстрелять на месте.  
Около него всегда оказывалась кучка лаврищевцев, которые скорбно вторили:  
— Только жандармами можете нас разогнать, только сгноить по тюрьмам.  
Напрасно он уговаривал, стыдил, едва не подкупал церковного сторожа — он наталкивался на гремучую ядовитую презрительную немоту. Напрасно теребил канцелярию Московской Патриархии. Напрасно пробивался к Святейшему, его викарный епископ только руками разводил:  
— Ну что я могу сделать? Я собственноручно отдал указ отцу Петру, так что действуйте самостоятельно.  
Напрасно Филипп будоражил благочинного, пожилого маститого протоиерея, тот все советовал ему все «спустить на тормозах», но Филипп не мог понять, каким образом ему можно тормозить, если дело вообще не движется? В конце концов, отчаявшись и услышав от него очередное «спустить на тормозах», он даже фактически выкрал сановитого старика: заманил к себе в машину и повез на правах пленника к Рождественскому монастырю. Подвел к церковному домику, позвонил в звонок.  
— Ладно уж с этим домиком, — говорил он, — нам бы сейчас хоть ключи от храма получить… Свято–Троицкий наместник приезжает сюда служить литургию. Не ломать же нам двери храма!  
— Боже упаси! — ужаснулся благочинный. — Какой же это будет соблазн для людей! Да и потом тебя, голубчик, могут просто за это в милицию сдать. Навесят какую-нибудь пропажу… Как докажешь, что ты никакого золота с бриллиантами у них не брал? Уж пожалуйста, Лаврищеву такой подарок не делай!  
Меж тем никто им не открывал. Отец Филипп вновь позвонил, потом стал стучать. Наконец из-за дверей кто-то спросил:  
— Вам чего?  
— С кем разговариваю? — властно спросил благочинный.  
— А сам кто такой? — послышалось из-за дверей.  
— Я — благочинный! Откройте! Вы не имеете права меня не впускать.  
— А мне настоятель запретил.  
— А я тебе приказываю: открой.  
— А настоятель не благословил.  
— А где отец Петр?  
— А его нет.  
— Дайте его телефон.  
— У него нет телефона.  
— А когда он будет?  
— Не знаю…  
Вот и поговорили.  
И благочинный ушел ни с чем.  
— Вот что, — сказал наконец старик. — Я бы сделал так. Это не значит, что я тебе советую сделать то же. Я знаю, они тут служат только в субботу и в воскресенье. Советую тебе дождаться, когда они будут служить и откроют храм, потом потихоньку туда проникнуть, затесавшись между прихожанами, и как-нибудь незаметненько в нем затаиться: ну поищи где — за панихидным столиком, может, или где-нибудь в ризнице между облачениями… И подождать, когда они все уйдут и запрут храм. Тогда выйти из убежища, приковать себя к батарее, а твои люди пусть и сообщат им, что ты остался внутри. Без милиции они тебя никак уж оттуда не вытащат. А твои люди получат право доступа в храм: тебя же надо кормить, поить… А если милицию вызовут — так ты чист. С одной стороны, — никаких при тебе храмовых ценностей: нечего им на тебя списать. А указ Патриарха у тебя на руках. Там черным по белому написано, что ты назначаешься наместником Рождественского монастыря, а священнику Лаврищеву предписывается передать тебе ключ от храма. Вот пусть при милиции и передаст.  
Филипп был потрясен:  
— Ну, отец благочинный, где вы, откуда, в каком крутейшем триллере все это вычитали! Какой Макиавелли вас научил? Какой граф Монте–Кристо?  
Старик весело засмеялся — даже слезы выступили у него на глазах:  
— Ну ты, Филипп, даешь! Ведь угадал! Ведь и в самом деле я это давно уже в каком-то фильме высмотрел. И, видишь, запомнил. Там один какой-то политический борец приковал себя наручниками к батарее и так сидел, пока своего не добился. Никто не мог с ним ничего поделать.  
Ну и отвез его Филипп обратно. Напоследок благочинный не выдержал и сказал ему:  
— А лучше — спусти-ка ты все это на тормозах…  
Но Филипп решил все же послушаться того, первого совета. А что, можно сказать, что так благословил его наставник. Во всяком случае, подал идею. Он срочно добыл наручники: благо его отчим когда-то написал сценарий про милиционеров, и фильм этот в милицейской среде просто прогремел. Отчиму дали даже некий почетный милицейский орден. И знакомых у него среди милицейских начальников было без числа. С некоторыми он даже ходил в баню и выпивал. И вот через кого-то из них достались Филиппу списанные наручники.  
— Только если это для спасения России, — высокопарно произнес отчим, передавая ему железки.  
Филипп научился ими пользоваться и решил, что когда он проникнет с ними в храм, то ключ от них предварительно оставит — нет, не одному из своих монахов, — во–первых, в глазах милиции их московский статус был весьма неопределенным, а во–вторых, они могли этот ключ попросту потерять, при первом же окрике передать лаврищевцам или попросту зазеваться и забыть, что, собственно, им надо сделать, но и не отчиму, который мог запросто покрыть лаврищевцев нецензурным словцом, а мне! Мне! Это я должна была поднять шум, заявить о запертом в храме наместнике, в случае нужды вызвать милицию, потом войти с ней к прикованному отцу Филиппу и, когда все будет улажено, его освободить. Ну почему именно я? Мне духовный отец запретил даже общаться с Филиппом, не то что участвовать в его акциях! Этого я, конечно, не могла ему сказать. Потому что это бы наверняка раздуло между ними новое пламя вражды, а я-то как раз надеялась именно что «спустить все на тормозах».  
— Ну почему именно я? Я что-нибудь перепутаю! Потом они же меня знают… Я же была у них на агапе. Наверное, они и так считают меня шпионкой! — причитала я.  
— А потому, — объяснял Филипп, — что кроме тебя, некому. Во–первых, ты сможешь беспрепятственно войти в лаврищевский храм — думаешь, они всех пускают? Как бы не так. А у тебя вид самый что ни есть реформаторский и прогрессивный. Кроме того — ты даже на агапе у них была. И потом — почему это ты шпионка? Может, ты просто обдумываешь то, что видела, готовишься стать их курсисткой, присматриваешься, смиряешься. Ты и последняя можешь выйти после службы, не вызывая подозрений. Ну, замешкаешься, разглядывая фрески… Во–вторых, у тебя в порядке документы. Это на случай милиции. А в–третьих, ты ведь не станешь им, в случае чего, бить морду или грязно ругаться? Ну вот и получается, что кроме тебя на это дело никого нет подходящего. Пойми — я в далеком Троицком монастыре пятнадцать лет провел, в Москве не появлялся, у меня здесь никого нет!..  
Итак, он решил отдать мне этот ключ, чтобы не оставлять его при себе. Почему-то он не исключал возможности, что лаврищевцы, найдя его прикрученным к батарее, не преминут обыскать своего добровольного узника.  
Но недаром эти наручники были уже списанные: Филипп решил мне их продемонстрировать и — хлоп! — защелкнул мое запястье, пристегнув его при этом к своей руке. Капкан славно клацнул. А вот ключ — барахлил: сколько мы его ни крутили, тупо проворачивался в замке. Так мы и сидели, скованные, с довольно глупым видом: тоже мне — герои, воины, детективы! — пока не приехал отчим и нас не освободил, смазав замочек каким-то маслом.  
Лаврищевцы, однако, перехитрили. То ли каким-то образом подслушали наши разговоры, когда мы с Филиппом на месте выясняли дислокацию, — ну, где именно я буду находиться, наблюдая за тем, как прихожане покидают храм, а сторож его запирает, где расположен ближайший действующий телефон–автомат, по которому я буду вызывать милицию, и так далее, то ли просто Господь избавил своего иеромонаха от поругания и обыска, но назначенная служба, на которую так рассчитывал Филипп, не состоялась. На дверях храма лаврищевцы вывесили табличку: храм закрыт по болезни настоятеля. Сами куда-то поразбежались, оставив объявление: катехизаторские курсы закрыты на каникулы. И даже храмовый сторож как в воду канул. И ничего Филипп не добился. Метался в бессилии между запертым храмом, домом с неприкаянными монахами и Патриархией и — скорбел.  
Ах, к этому ли он стремился, этого ли ожидал, собираясь сюда? К таким ли скорбям готовился, прощаясь со своим старцем, со своим монастырем? Представлялась ему тогда его будущая смиренная обитель посреди безумной Москвы, куда он собирает братию, готовую отречься от мира ради Христа: чистые, горячие люди, желающие чина ангельского, славословия непрестанного, богословия высочайшего, желания непорочного, жизни вечной, любви неизбывной… Виделись ему длинные богослужения, молитвенные бдения, подвиги, покаянные слезы, смиренное крестоношение, внутреннее художество, глас хлада тонка и проницающий все радостный свет Преображения. Думал он, конечно, — как же без него! — и о враге рода человеческого, всегда желающем вовсе погубить монаха, превратить его в посмешище, в притчу во языцех, в покивание главы в людях!.. Но он никак не предполагал, что этот враг окажется таким уж, ну, что ли, мелким, склочным, невзрачным… Он был готов к смертельной битве с ним, вплоть до кровопролития, ибо — «пролей кровь и получишь дух…» Ему хотелось геройства, даже мученичества. Но именно к этой мелкой и пошлой каверзности врага всех христиан он и не был готов. А собственно, что тот сделал? Всего–навсего устроил так, чтобы Филипп не получил ключей от храма. Вроде бы — тоже мне, дьявольская уловка, тоже мне — скорбь! «Мне бы твои заботы, отец Филипп», — усмехался он самому себе. Но вот–вот приедет под Сочельник наместник Свято–Троицкого монастыря с диаконом Дионисием и келейником, еще — слава Богу, не приведи Господь — архиерей с ними пожалует, — что, спрашивается, Филиппу теперь с ними делать, куда их деть? Где с ними престольный праздник служить? А из-за чего? Из-за того, что Филипп не смог свой собственный, порученный ему Богом храм открыть! Так и скажет теперь владыке Варнаве и архимандриту Нафанаилу, да что там, самому Патриарху: «А Рождественской службы в Рождественском монастыре не будет! Расходись по домам!»  
Так изводил себя Филипп, пока смиренно не возопил к Господу о помощи. И тут узнал он, что владыка Варнава, по милости Божией, все-таки с приездом решил повременить… Воодушевленный, кинулся он туда–сюда — в Патриархию, Даниловский монастырь, наконец, выхлопотал там, в монастырской гостинице, для отца Нафанаила со свитой ни много ни мало архиерейские покои, выпросил облачения, встретил всех на вокзале, объяснил, что его церковный домик еще не готов к приему гостей, привез в Даниловский, широким жестом пригласил:  
— Располагайтесь!  
Тут же отец Нафанаил получил изрядную порцию приятных чувств — встретил там знакомого архиерея, а тот ему:  
— Владыка, благослови!  
А отец Нафанаил:  
— Что вы, я всего лишь навсего архимандрит…  
А архиерей в ответ:  
— А я имею в виду — владыка без пяти, нет, без двух минут…  
И как только отец Нафанаил все это пересказал, да еще и откомментировал, посмеиваясь, да еще похвалил сервировку и трапезу, бросив келейнику: «Необходимо взять это на вооружение — как и что, мы так же все заведем и у нас в обители», тут-то Филипп и выложил, как бы между прочим, что служить им, как видно, придется на сей раз не в храме, а во дворе…  
— На каком дворе? — насторожился Нафанаил. — Зачем на дворе?  
Но Филипп только улыбнулся, не выдавая волнения, и махнул рукой, словно имея в виду что-то забавное и незначительное:  
— Да отец Петр Лаврищев у нас что-то чудит!  
— А священноначалие что?  
— Спускает на тормозах, — бодро пояснил он.  
Против этого отец Нафанаил возражать не стал, как бы это ни казалось ему своеобразным.  
К тому же, когда вечером Филипп привез их в Рождественский монастырь, первый, кого увидел там отец архимандрит, был благолепный московский благочинный, лицо которого будто бы и не выражало никакого особенного смятения, и тогда он решил, что, может быть, именно так у них все тут намечено, запланировано, и просто надо служить на морозе — и все.  
Но он просто не знал, что отец благочинный оказался здесь по чистой случайности — ну вроде того, что у него у самого монастыря то ли спустило колесо, то ли прорвало радиатор. И, собственно, он зашел в монастырь лишь для того, чтобы Филипп (или, хорошо, Лаврищев) ему помог. И поначалу, когда он понял, что происходит и как именно здесь собираются служить, а священники и иеродиакон на его глазах стали облачаться прямо на улице, то, конечно, чуть ли не стал ловить ледяной воздух открытым ртом. Однако вид невозмутимого и даже степенного наместника Свято–Троицкого монастыря внушил ему некое подобие спокойствия. «Будь что будет», — решил он. К тому же Филиппов отчим пригнал своих ремонтеров, и они как раз к концу службы починили машину.  
Служили же вечерню с утреней. Получилось, что называется, «поскору», поскольку был как-никак лютый мороз, однако хор не подкачал — регентовал тот самый бывший послушник, который пел когда-то у отца Ерма византийские литургии, а потом ушел из монастыря «из-за бабы»… И потом отец Нафанаил (между прочим, простуженный), когда Филипп его вместе с келейником и Дионисием доставил в гостиницу и договорился об ужине, и все они уже сели за стол, вдруг — спаси его Господи — произнес: «А молитва была такой, что холода и не почувствовали».  
И вот по православной Москве мгновенно пронесся слух, что общинники отца Лаврищева не пустили законного наместника с братией служить в Рождественском монастыре, служба проходила на двадцатиградусном морозе, и теперь нужно поддержать иеромонаха Филиппа… А Василий Васильевич понял этот так, что «наших бьют»: он поднял молодца с атаманом, отослал их к здешнему казачьему же атаману в Павлов Посад и вообще призвал их «кинуть клич». И они его кинули так, что уже к вечеру на следующий день во дворе Рождественского монастыря, к ужасу Филиппа, раскинулся чуть ли не целый казачий гарнизон, готовый в любую минуту ни много ни мало идти на штурм.  
К счастью, храм был уже открыт — Рождественскую службу Лаврищев все-таки решил послужить. В алтаре уже хозяйничал Векселев, лаврищевцы заполняли храм, раскладывая стульчики рыболова, баулы с закуской для ночного разговленья, распространявшие соблазнительный запах, и даже надувные матрасы. Постепенно собирались и всегдашние паломники Свято–Троицкого монастыря, прослышавшие, что здесь открывается его московское подворье.  
Патриарх, по свежим следам узнавший о богослужении на морозе, передал иеромонаху Филиппу свое благословение соблюдать «дух мирен» и отныне по большим праздникам и по воскресеньям служить вместе с отцом Петром, а в будни — по очереди, кто когда пожелает. И так — до тех пор, пока Лаврищев не найдет возможным окончательно перебраться в Введенскую церковь. А инцидент с богослужением под морозным небом он советовал замолчать, как бы его и не было. Чтобы не возник соблазн среди православных. Чтобы не было озлобления одних против других.  
И Филипп подошел к казачьему атаману, поблагодарил его за поддержку, но сказал, что все уже уладилось и в его помощи нет никакой необходимости: пусть его ребята отправляются по домам, а ночью приходят помолиться в любую православную церковь. Казаки стали расходиться, но человек пятнадцать все же остались. Они стояли группками и никуда не собирались уходить. Отчим сказал:  
— Зачем ребят обижаешь! Видишь — болеют они всей душой. Помолиться к тебе пришли.  
Филипп смягчился:  
— Раз помолиться, то пусть.  
— Готовы за веру православную пострадать! — сказал один из них.  
Филипп испугался:  
— Только не здесь и не сейчас. Всему свое время. Время молиться и время умирать. Пока что первое у нас время. Может, когда-нибудь потом и второе настанет. А пока первое, первое.  
С одиннадцати часов народ так и повалил — и лаврищевцы, и Свято–Троицкие паломники, и просто — ничего не ведавшие о конфликте православные. То и дело между ними происходили стычки:  
— Зачем вы пришли нам сюда мешать? Это наш храм. Уходите к себе. Мало, что ли, вам храмов? — обиженно тянули лаврищевцы. Они были похожи на обиженных детей: зачем вы пришли в наш двор! Они стояли сплоченно, и решимость была написана у них в глазах.  
А «чужаки» были разобщены. Многие и не очень-то понимали, что здесь происходит. Кто-то из них спрашивал:  
— А что — нельзя? Это вообще-то православный храм?  
Особенно доставалось казакам. Им в лицо кидали и «ряженых», и «фашистскую свору», и «оккупантов».  
Позже, когда служба уже закончилась, Филипп порасспросил своих прихожан, что там творилось в храме и вокруг него. И решил, что казакам можно поставить твердую четверку с минусом. Минус — за то, что почти всю службу скопом простояли на улице — кружком у дверей и вряд ли даже что-то толком слышали, что происходило в храме. Но о том, что они кого-нибудь толкнули или оскорбили, — таких сведений не было у него.  
Они, эти сведения, однако, были у лаврищевцев. И через несколько дней приверженцы отца Петра дали оглушительный залп по иеромонаху. Сразу в четырех или пяти газетах появились статьи «Рождество с нагайками», «Черная сотня иеромонаха Филиппа» и даже «Поп — толоконный лоб». Последняя была написана сразу двумя людьми, мужчиной и женщиной, в соавторстве. Это были некие Сундуковы. И я спросила у Анны Стрельбицкой:  
— Помнишь, там, на агапе, были журналисты — муж и жена. Как ты думаешь, это не они?  
— Если Сундуковы, то это точно они. Не в бровь, а в глаз. Сундуковы и есть.  
А еще через день — вышла еще одна их статья со зловещим названием «Пастырь убил чужую овцу». Там говорилось о том, что после Рождественской службы по приказу черносотенного казачьего иеромонаха Филиппа была зверски убита в своем подъезде прихожанка отца Петра Лаврищева. Таким образом, говорилось дальше, иеромонах собирается постепенно извести всю паству соперника.  
Филипп перепугался, устроил переполох в редакции, пытаясь узнать фамилию этой новопреставленной убиенной, поскольку в статье она была безымянной: так, некая прихожанка. Ворвался даже к главному редактору. Тот вызвал сотрудников. Наконец, нехотя они сказали: «Кажется, ее фамилия была вроде как Кошкина». Филипп помчался в милицию, но там ему отказались давать какие-либо сведения. Он переполошил отчима. В конце концов, выяснилось, что эту несчастную Кошкину действительно убили и действительно в подъезде, однако это произошло не в рождественскую ночь, а шестью неделями раньше, когда Филипп еще прощался со Свято–Троицким монастырем. Причем убийцу ее сразу и нашли по горячим следам. Им оказался какой-то серийный маньяк. Собственно, после ее убийства его сразу и поймали.  
Филипп облегченно вздохнул, вернулся к главному редактору, положил перед ним милицейское свидетельство, потребовал, чтобы дали опровержение. Тот махнул рукой: да может, в этой статье речь шла не о Кошкиной, а о другой… Впрочем, если угодно, Филипп может подать на газету в суд.  
Меж тем все же дело с монастырем хоть как-то сдвинулось: все-таки Филипп получил возможность служить литургию, исповедовать, собирать вокруг себя паству. Да и отец благочинный наконец добился, чтобы лаврищевцы отдали подворью хотя бы малую часть двухэтажного церковного домика. Они и отдали половину второго этажа: три небольшие комнатки. И отец Филипп перебрался туда со своими монахами. В одной поселил монахов, в другой сделал кухню, а третью предназначил для служащего священника, каковым мог быть или он сам или какой-нибудь иеромонах, приехавший в Москву из Свято–Троицкого монастыря. Худо–бедно, но жизнь стала налаживаться. Однако это было чревато новыми испытаниями.  
Во–первых, как только он выходил из своих подворских апартаментов, он тут же попадал в поле действия кинокамеры, и каждый его шаг фиксировался лаврищевцами на кинопленку. Во–вторых, только он раскрывал рот, чтобы сказать что-нибудь своим соседям по подворью, как они тут же включали магнитофон и говорили: «Так–так, все будет запротоколировано». В–третьих, к нему в церковном дворе постоянно подходили какие-то лаврищевки, которые то гневно, то с мольбой восклицали:  
— Зачем вы хотите выгнать нас на улицу?  
То вдруг к нему подскакивала какая-нибудь экзальтированная дама из лаврищевцев и, заламывая руки, взывала к нему:  
— Попросите ваших казаков, чтобы они больше не убивали наших прихожан!  
А то как из-под земли вырастал пред ним лысый старичок и слезно умолял:  
— Не гоните на улицу хотя бы наших деточек! Бог вам этого не простит!  
Под деточками, очевидно, он имел в виду слушателей катехизаторских курсов, которые теперь почему-то забросили свой Введенский храм и собирались исключительно в Рождественском церковном домике. Всегда можно было видеть в окне то лысину Векселева, то аккуратно подстриженную голову самого отца Петра. Однако никаких детей там не было и в помине: Лаврищев придерживался теории, по которой святое крещение может принять только взрослый, сознательный, прошедший его курсы человек. А ребенок из этих курсов ничего не поймет, и благодать пройдет мимо. Расплещется. Нет, только прошедший курсы мог считаться полным членом Церкви. А тот, кто еще их не прошел, — профан. Поэтому получалось, что даже Патриарх, по его версии, и тот, коль скоро не был лаврищевцем, не являлся пока еще полным членом Церкви.  
Но особенно Филиппа уязвляла одна общинница — особо приближенная к отцу Петру, нечто вроде его секретарши, уже пожилая, седовласая Зоя Олеговна, которая, делая сострадательное, даже как бы плачущее лицо, встречала его словами:  
— Бедненький, бледненький, как устал-то, как нервишки пошаливают! Небось и самому не хочется в такую грязную историю впутываться, а князья Церкви приказывают! А у тебя совесть возражает, а они настаивают. Отсюда и раздвоение. Отсюда и невроз, и шизофрения может быть. Я — заслуженный врач–психиатр, эксперт высшей категории — сразу это вижу. Тебе лечиться надо. Отдыхать побольше, а то может начаться психоз, неадекватные реакции, галлюцинации, голоса…  
Благословил ее отец Петр засесть в алтаре с толстой тетрадью, и пока Филипп служил литургию, она все пристально вглядывалась в его лицо и потом что-то старательно так записывала. В конце концов он властно приказал ей покинуть алтарь.  
— Ну вот, — сочувственно покачала она головой, — уже немотивированный гнев, так и навязчивые состояния могут появиться, и суицидные мотивы… Отца Александра Меня, наверное, тоже кто-нибудь убил из таких, как ты.  
А кроме нее — Филиппа уж очень искушал Векселев. Выяснилось, что он, будучи мирянином, при отце Петре всегда потреблял Святые Дары. Филиппу он объяснил это так — у отца Петра нет диакона, который бы это совершал, а сам батюшка болен диабетом и ему нельзя столько сладкого. Поэтому он и решил взять эту обязанность на себя. Филипп был поражен такой дерзостью — ведь потребление Святых Даров после причастия символизирует погребение Христа, и совершать это дозволяется только человеку, облеченному священным саном. А кроме того, он был смущен, что диабетик отец Петр Лаврищев видел в евхаристических Крови и Теле Христовых лишь хлеб и вино, угрожавшие его организму повышением сахара. Поэтому он своей властью просто запретил Векселеву прикасаться к Чаше, и тот ему недвусмысленно заметил:  
— Какой же вы все-таки конфликтный человек! На все реагируете истерически! Нарываетесь на неприятности… А не замечаете, что ведь они и сами уже сдавили вас плотным кольцом!  
В конце концов Филипп предложил отцу Петру разделиться, чтобы больше никогда не служить вместе, а только по очереди. Если служит отец Филипп, то чтобы ни Зои Олеговны, ни Векселева и духу в алтаре не было. А если служит отец Петр, то Филипп молится где-то на стороне. Так и договорились. Но как быть с воскресеньями, с большими церковными праздниками? Какая здесь может быть очередность…  
Надо сказать, что келья отца Петра находилась не в церковном домике, а прямо в храме. Просто был отгорожен кусок алтаря, и он там жил. Эта перегородка осталась после мастерской художников, которая помещалась здесь до открытия храма. И отец Петр ее не стал сносить.  
И вот как-то раз служит отец Филипп литургию, молится и вдруг отчетливо слышит странные звуки: тр–р, тр–р! Как бы труба какая-то гудит. Во время самой эпиклезы, когда он стоит перед престолом, раскрытый Господу и предающий Ему свою душу, призывая Святого Духа, вновь слышит это: тр–р, тр–р!..  
Сразу после Евхаристии он стал исследовать, откуда шли эти смущающие сердце звуки. И тогда решил войти к отцу Петру в келью. Войдя же, сразу понял, что в ней имеется некий отсек. Кладовка что ли, стенной шкаф.  
— Что вам угодно? — спросил отец Петр. — Почему вы входите без стука?  
Но Филипп отстранил его рукой, распахнул дверь и увидел там унитаз. Журчала вода, наполняя бачок.  
— Отец Петр, — потрясенно воскликнул Филипп. — Это же уборная!  
— Ну да, — невозмутимо ответил тот.  
— Да ведь здесь же был алтарь, здесь стоял престол…  
— Ну, когда-то стоял, а потом перестал стоять, — раздраженно ответил Лаврищев.  
— А Святые Отцы утверждают, что там, где когда-то был престол, Ангел Господень до Судного Дня предстоит с огненным мечом… Как вы дерзаете? Как не боитесь?  
Отец Петр глянул на него насмешливо, даже раздражение все куда-то испарилось, и спросил, подмигнув:  
— Вы что, правда в это верите?  
И что ответил Филипп?  
Он ответил именно так, как когда-то учил меня отвечать в подобных случаях мой духовный отец игумен Ерм:  
— Верую и исповедую!  
— Какое суеверие! — поморщился отец Петр.  
И вот Зоя Олеговна, встретив после этого Филиппа, сказала ему с состраданием:  
— Миленький, приходи ко мне, я тебя вылечу, у тебя религиозный бред начинается. Все может обернуться для тебя белой горячкой, делириумом!  
Вот в таких условиях мой друг восстанавливал свой монастырь. Конечно, он и смущался, и страдал, но по тому, как сияли его глаза из-под низко надвинутой на лоб скуфьи, было понятно, что он рад этим битвам и бурям и желал бы еще больших потрясений и скорбей, во–первых, потому что, как известно, лишь многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное, а во–вторых, потому что душа его изнемогала от жажды подвигов, от дивного избытка сил, от нерастраченного вдохновения, которое она скопила за пятнадцать лет тихой и мирной монашеской жизни в Свято–Троицком монастыре.  
А я, после того как наш план с наручниками лопнул, вздохнула, наконец, спокойно: кажется, я не очень-то и «засветилась» возле Филиппа в его борьбе. Ведь мой духовный отец игумен Ерм как раз в ту пору интересовался Лаврищевым с его реформами, и получилась бы явно двусмысленная история, что мы с ним оказались бы «по разные стороны баррикад». Лаврищевцы же очень часто заявляли прихожанам отца Филиппа:  
— Мы с вами по разные стороны баррикад.  
А так — что, в конце концов, я скорбящего и алчущего друга–иеромонаха чаем не могу напоить, что ли? Чашку холодной воды подать? Да могу, конечно. И говорить нечего. Тоже мне — двурушничество!.. А если отец Ерм спросит — ну что, виделись вы с Филиппом? Я отвечу — да, виделась, я ведь живу возле самого монастыря.  
С чистой совестью я и уехала к отцу Ерму. Но оказалось, что московские события были ему уже абсолютно неинтересны — у него клубились свои облака, погромыхивали свои бури. И про отца Филиппа он и не вспоминал. Честно говоря, и я в Преображенском скиту совсем позабыла про моего друга.  
А вернулась домой — только вышла на улицу, монастырь под боком, — сразу встретила Векселева, этого Урфина Джюса, и журналистов, мужа и жену Сундуковых, — моих знакомцев по агапе. Они шли, как заговорщики, целеустремленно и сосредоточенно, занимая всю узкую улицу, и чувствовалось, что нельзя проскочить между ними, настолько зримо они были объединены общим пафосом, неразрывной энергией бесповоротной решимости. Еще через пару дней невдалеке показался Грушин с деловым «дипломатом». А еще через день меня окликнула Зоя Олеговна:  
— Ну что, все выбираем? Все не можем решиться? Все духу нет? А наверное, хочется ведь опять на агапу? Там — харизма, там — благодать! А сознательности у нас еще нет, еще духовная ленца, сомнения черви, такое раздвоение: одна наша половинка хочет приобщиться, а другая сопротивляется. И у приятельницы вашей, я заметила, ярко выраженный синдром. Неврастения. И гордынька, гордынька! Глаз-то у меня наметан.  
Раздала диагнозы и пошла было дальше. Потом вдруг резко остановилась, повернулась на каблуках, порылась в сумке, протянула мне газету:  
— Вы ведь, кажется, от отца Ерма к нам тогда попали? Отец Петр что-то об этом говорил. Так вот, отец Ерм — за нас. Гриша к нему ездил, он все подписал… И еще просил нашего Гришу вам передать, чтобы вы не якшались с отцом Филиппом. Сказал, такие, как он, и убили отца Александра Меня.  
И сунула мне под нос коллективное письмо в защиту отца Петра и против реакционных сил под предводительством красно–коричневого иеромонаха. Там стояли подписи артиста Быкова, артиста Никулина, главного редактора Грушина, академика Рачковского и игумена Ерма!  
Начертание этого имени ударило в меня, как молния, сотрясло, искры посыпались из глаз. Я даже забыла, куда направлялась, и вернулась домой. Больная, рухнула на кровать, собралась в комок, натянула на голову плед. Гриша, Гриша, профессиональный лаврищевец, — когда только он успел? И потом — я-то зачем ему понадобилась, чтобы на меня там настучать?  
Забежал отец Филипп с последними новостями. Оказывается, он уже знал про письмо, видел подпись игумена. Почему-то я испугалась, как бы он не подумал, что именно я и возила его подписывать, участница генеральной агапы. Даже чувство вины у меня появилось. А чем искупить? Повышенным вниманием, сочувствием, соучастием. Я и брякнула:  
— Отец Филипп, можешь смело рассчитывать на меня!  
И прикусила язык. Поняла: коготок попал — птичка пропала. А у меня и там коготок, и тут. Такой вихрь во мне поднялся, такой ураган. Песчаная буря: режущий мелкий летящий песок. Я уже в нем по колено, уже по грудь. Смущение на меня нашло. Воистину «покры мя тьма».  
Нет, ну правда — что это такое: отдать один и тот же храм и монастырю, и приходу — пусть делят! Естественно, у них между собой конфликт! Тоже мне — выход из положения: служить вместе… Но и служить до поры по очереди — не лучше, Да и как — по очереди? Ты — служи на Иоанна Златоуста, а ты — на Игнатия Богоносца, ты — на Феодосия Черниговского, а ты — на Иннокентия Иркутского, ты — на Иверскую, а ты — на Федоровскую, а как же быть в большие церковные праздники — Сретение, Великий пост уже на носу, да и вообще — каждое воскресенье? Все равно ведь приходится вместе, в одном алтаре: один возглавляет, другой помогает. Целование ведь приходится друг другу давать — и после «Верую», и перед тем, как причаститься Христовым Телом… А когда по очереди служат, происходит путаница: малое стадо, которое осталось у отца Филиппа после того, как он разогнал казачков, не понимает этой очередности, приходит «не в свой день», лаврищевцы его разгоняют: «Зачем вы к нам пришли? Сегодня не ваш день! Вы без очереди! И вообще это наш храм!» Сами же лаврищевцы — дисциплинированные, организованные — созвали «своих», теперь ходят на службы отца Петра, как на демонстрацию, — абсолютно все, полный храм, битком набит. До этих событий все больше лекции их привлекали, собрания, агапы… А теперь — валом повалили в храм. А к отцу Филиппу, врагу своему, они — ни ногой, только те из них приходят, кого специально послали, — следить, слушать, записывать на магнитофон, снимать на камеру. Какое смущение для всех!  
Вот и я попала меж двух огней — влетит мне от отца Ерма за пособничество его противнику. Да нет, ах, не то слово — влетит, это бы еще хорошо, но наоборот — сделает он вид, словно ничего такого и не произошло, а сам мне — бойкот, холод, не узнающие меня, смотрящие как бы мимо глаза, из всех слов только «да–да» или «нет–нет». Обидится на меня отец Филипп, если я теперь от него отвернусь. Да и как это — отвернусь: скованы мы уже с ним этими наручниками, а ключ все проворачивается в замке. Так что попробуй отойти — всю руку вывернешь…  
Лучше мне вообще куда-нибудь спрятаться, закатиться монеткою за диван, чтобы не растратили, орешком — за книжные полки, чтобы — не сгрызли… Лучше, чтобы песок меня завалил… Переждать, пережить зиму, весну, проспать с пледом на голове. Или — расследовать, наконец, убийство отца Александра Меня, найти убийц. Или уехать в Медон, погрузиться в католические науки, выучить всех пап и анти–пап. Даже какая дрянь ко мне привязалась: «И отвечает сурок: Ваше Величество, все католичество выучил я назубок».  
А вернуться, когда все уже успокоится, лаврищевцы целиком и окончательно переберутся из монастыря в Введенский храм, Филипп обнесет свою обитель высокой белой стеной, за которой будет подвизаться крепкая молодая братия, а игумен Ерм уже позабудет, из-за чего там был этот сыр–бор, какое–такое письмо привозили ему подписывать, не знает он никакого Гриши с его заиканием, о Лаврищеве только слышал что-то не очень лестное, но вот что именно — теперь не вспомнить никак…  
И еще отец Ерм скажет строго: «Ну и куда же вы пропали? Ни слуху от вас ни духу. Переписка моя остановилась: письма мне тут поприходили из заграницы — некому было их перевести, так и лежат. Я думал — вы больны, а вы уехали, ничего не сказав. Разве можно так поступать?»  
…Я начала с расследования убийства. Встретилась с одной духовной дочерью отца Александра, поэтессой. Она сказала:  
— Когда его убили, мы были все в таком ужасе, что вот–вот и нас придут убивать топором. Сидели по своим углам, даже двери никому не отпирали.  
Я спросила ее:  
— А как вы думаете, кто же все-таки мог его убить?  
Ну мало ли что, она ведь могла знать какие-то подробности его жизни, хотя бы кто к нему ходил — может, духовидец какой, который слышал голоса, и они ему возвестили об отце Александре что-то вроде «бруэ, бруэ», может, безумка–поклонница. А может, у той был ревнивый и грозный муж, мало ли что. Говорят, отец Александр перед смертью получал анонимные письма, звонки с угрозами. Я не знаю, разве из КГБ звонили, когда они хотели кого-то убить? И убивал явно не профессионал — вон отец Александр после его удара встал и пошел на станцию — искать портфель, и всего, получается, ходил он не менее получаса. Там — полно народа на платформе, милиция — тоже, говорят, какую-то сумку искала — девушки–самоубийцы. Отец Александр мог им тут же и раскрыть своего палача, а он почему-то не захотел… Очевидно, он его знал, очевидно, даже остановился с ним поговорить или прочитать нечто, протянутое ему — иначе зачем бы он надевал очки, они были забрызганы кровью… А может, здесь, у платформы, он сам еще не понял, что его не просто ударили, а уже УБИЛИ. Женщины какие-то благочестивые, ехавшие в Загорск, спросили его:  
— Что вы здесь ищете?  
Он ответил:  
— Портфель.  
— Вам помочь?  
— Не надо, я сам.  
Почему-то они, эти благочестивые, его, окровавленного, не проводили до дома, не вызвали скорую.  
А отец Александр, истекая кровью, с проломанной головой, пришел к дому и рухнул прямо на ворота. Лежал, стонал. Почему-то жена к нему не вышла, хотя слышала его стоны и всхлипыванья, не узнала, что ли? Думала — пьяный. В семь утра? Скорую вызвала тоже не тотчас. Он успел истечь кровью…  
Всех интересовал исчезнувший портфель, прежде всего, он волновал самого отца Александра. Что там могло быть? Деньги? Есть свидетельства, что накануне вечером у него в портфеле было много денег — в пачках, и когда он неловко раскрыл портфель в электричке, эти пачки рассыпались по всему полу вагона, в котором он возвращался домой.  
А может, и не деньги: деньги он мог вынуть вечером и оставить дома, спрятать. Может, там была компрометирующая кого-то исповедь? Чья? Может, тайные письма? Какие письма, от кого? Может, документы? Что за документы такие? А может, что-то другое, еще… А может, там не было никаких исповедей, писем, бумаг, документов, денег, и отец Александр хватился его, потому что там была, скажем, епитрахиль? Его иерейский крест с украшением?  
Но поэтесса всплеснула руками:  
— Как — кто убил? Неужели вы еще не догадались? Ну они, они, — произнесла она шепотом, закатывая глаза. Я даже испугалась за ее глазные яблоки, так далеко они закатились…  
— Поняли? Ну? Ну?  
Наверное, у меня был очень глупый вид. Она даже фыркнула, вернув глаза в прежнее положение:  
— Да князья же Церкви, вот кто!  
— А, — разочарованно затянула я. — Это я уже слышала. Только непонятно, зачем этим князьям надо было его убивать, раз они воздавали ему какие только возможно почести и награды…  
— Для отвода глаз. Вот именно, чтобы вы не подумали, что это они убили. А мы, меневцы, сразу поняли. Я даже дверь железную вставила, а туда — три замка. Потому что следующими будем мы.  
И она несколько раз со скрежетом повернула свои замки. Я представила себе, как она сидит, запертая, прислушиваясь к звукам лифта, ждет крадущихся по ее душу князей с топором, и мне стало не по себе. Я почувствовала — ну как это обычно говорится? — что следствие мое зашло в тупик, вот как.  
Поэтому на следующий день я решила кардинально поменять направление деятельности и встретилась с отцом Борисом Башкирцевым — известным латинофилом, преподавателем католичества в Московской Духовной Академии: он был настоятелем московского храма, куда я ходила с детьми. Он сказал:  
— Хорошо, молодежь, я вам все расскажу и про католичество, и про Медон. Но только сделайте одолжение, отвезите меня на дачу к больной жене.  
И вот мы приехали, а жена его была блаженная и светлая женщина — все время читала акафисты, заложив уши ватой, чтобы ничто ее не отвлекло. И поэтому она не слышала, когда мы вошли. А отец Борис понес сумки с едой на кухню, и она увидела только меня. И решила, наверное, что я ворвалась сюда, чтобы ограбить дом, а ее убить. Поэтому она издала страшный вопль и как была — в халате и шлепанцах — убежала в ночь. И мы с отцом Борисом за ней погнались. Вернее, сначала погнался он, но бежал медленно, потому что ему мешали одышка и не терпящая никакой спешки и суеты вальяжная солидность тела. Он кричал ей: «Люба, Люба, это же я!» Но ее уши все еще были заложены ватой, и она не слышала вообще ничего. И тогда он попросил меня выказать прыть. Но бедная женщина, потеряв шлепанцы и оказавшись на снегу в одних носках, оглянулась и, увидев, что я преследую ее по пятам, закричала еще громче, прибавила шагу и скрылась во тьме.  
— Плохо бегаем, молодежь, — сказал он мне, на ходу задыхаясь. — Теперь ее отыщешь разве что с милицией… Но все равно — будем искать! Но скорее всего она забежала к своим. Есть у нее здесь, в поселке, какие-то свои. Сектанты, кажется. Бабки такие суровые, в платках до бровей. А благословения у меня не берут, наоборот, увидят меня и сразу губы презрительные поджимают. Она иногда и убегает к ним. А они ее отогреют чаем, утешат, оденут и приведут. Вообще, она тихая, кроткая. Но когда у нее обострение, всегда из дома бежит, стоит только входную дверь отпереть. И вот так — раздетая, босиком. И, что страшно, совсем не чувствует холода, не мерзнет.  
Мы шли по черному вымершему поселку. Вдалеке шумел лес, направо, за вереницей глухих сараев, открывалось поле.  
— А в больницу не хочет, — отец Борис тяжко вздохнул. — «Не пойду, говорит, и все! Мне Матерь Божия не велит». А я без ее согласия теперь уложить ее туда не могу. Потому как если она не социально опасная, ни один врач ее туда не возьмет. Так и мыкаюсь. А вы говорите — католичество, Медон, соединение Церквей… Нет, сейчас это невозможно, и никто к этому не готов. Да и какой смысл? Ну, предположим, соединятся десять энтузиастов, которые здесь, и десять активистов, которые там. Так это вызовет новый раскол… Потому что как-то так получается, что эти активисты с энтузиастами всеобщего единения больно уж непримиримы к собственным ортодоксам, прямо до ненависти, до открытой войны…  
Он остановился и перевел дух.  
— Но самое главное, молодежь, запомните, это очень важно, это я вам говорю, а я много чего знаю, Россия всегда была полигоном для столкновения католических и масонских интересов. И масоны побеждали всегда! Почитайте историю — чуть где обосновывались у нас братья–иезуиты, там тут же начинали интриговать масоны, чтобы их изгнать. И всегда у них получалось!  
Он поднял воротник, и мы повернули к полю.  
— Поэтому масоны постарались сделать так, чтобы мы видели католичество в их интерпретации. Да, говоря современным языком, когда-то они вели против иезуитов очень искусную информационную войну. А потом…  
И тут мы ее нашли — она стояла, вжавшись в забор, словно надеясь слиться с ним. Отец Борис бросился к ней, закричал: «Люба! Люба! Пойдем!» Вдруг что-то понял, вытащил вату из ее ушей. Кивнул ей на меня:  
— Вот, католичеством интересуется. Спрашивает, можно ли Церкви соединить.  
Она стеснительно заулыбалась, захихикала, сказала заплетающимся, может быть, от холода, языком:  
— Католики там пишут нолики.  
Засмеялась и я. Скорее всего, это был подхалимский смех. Я ужасно замерзла. И мне хотелось, чтобы она наконец вернулась домой.  
— А католички поют, как птички, — все так же, вжимаясь в забор, сказала она, явно приободренная моим смехом.  
— Пойдем, Люба, пойдем, — уже с некоторым раздражением сказал отец Борис.  
Она закрыла лицо руками, словно стесняясь. Потом отняла от него ладони:  
— А можно еще — воруют спички.  
— Так ты хозяйка или нет? Видишь, у нас гостья. А ты чем угощать ее собираешься? — пошел он на хитрость.  
Тогда она медленно двинулась, опираясь на его руку:  
— А можно еще — яички.  
— Можно, — обрадовался он. — Хотите яичницу?  
— Да нет же, нет, — захныкала она, как капризный ребенок, вновь хватаясь за забор, — Разве вы — католичка?  
— Нет, — смутилась я.  
— Ну вот, я и говорю, — она укоризненно ударила его по руке, — а лишь католички едят яички!  
— Вы что — не можете ей подыграть? — уже с явным раздражением сказал несчастный латинофил.  
Честно говоря, я продрогла уже до костей, к тому же я действительно была голодная, и яичница, так бездарно уплывшая у меня из-под носа, ужасно раздразнила меня, да и весь этот Медон мне уже надоел. Поэтому я спросила ее, кивнув отцу Борису:  
— Ну а вы — что же, католичка?  
— Что вы, — ужаснулась она. — Я их терпеть не могу.  
— Она не любит католиков, — подтвердил отец Борис.  
— Да? — спросила я и постаралась, чтобы зазвучало шутливо. — А я-то думала, что только у католички в ушах затычки…  
— Нет, — решительно и серьезно ответила она. — Вовсе не только у них. У православных тоже. А впрочем, надо посмотреть в житиях.

Вот и хорошо. Пусть посмотрит. Если там что-нибудь об этом есть, я бы тоже заткнула себе уши, — думала я, вернувшись домой и поедая яичницу из четырех яиц. Эх, пережить бы все это молчком, с выразительным пальцем поперек губ, пробежать тишком, на цыпочках, крадучись, прижимая острые локти к бедрам, опустив голову, потупив взор. А сама на следующее же утро купила телефон с автоответчиком: «Извините. Меня сейчас нет дома. Оставьте ваше сообщение после гудка…» На самом деле, это только кажется, что он тебя от чего-то (или от кого-то) спасает. Совсем даже наоборот. Первым делом заслышался сладковатый голосок Зои Олеговны:  
— Я — по благословению отца Петра. Он не против, если вы сегодня поприсутствуете на его переговорах с иеромонахом Филиппом.  
Позвонил Филипп:  
— Эй, отзовись! У меня к тебе дело.  
Позвонил Векселев, сквозь треск можно было разобрать:  
— …часов.  
На следующий день — опять Филипп:  
— Ты куда пропала? Если ты в Москве, зайди.  
Еще через день раздался незнакомый голос:  
— Мы не знаем номер вашей квартиры. Спуститесь, пожалуйста, к подъезду в шесть часов.  
Я не стала спускаться, вот еще! На следующий день — откуда они узнали мой адрес? — Сундуковы позвонили мне в дверь, сунули в руки видеокассету.  
— И сами посмотрите, и игумену Ерму отвезите. Стоящий фильм, — сказал Сундуков.  
— Релевантный. Вот, — строго добавила Сундукова.  
Я подумала:  
— Да ну! Небось какие-нибудь просветительские лекции…  
Потом, ближе к ночи, все же поставила.  
И вот на экране — отец Петр Лаврищев — крупный план:  
— Неужели вы не понимаете, что все — за нас. Прогрессивная общественность с ее мнением, московская интеллигенция, Запад, вы вообще прессу читаете? Оставьте эту затею, она вам не по плечу.  
Далее — Филипп — в полупрофиль:  
— Я — монах. Я выполняю указ Патриарха. Он поручил мне возродить здесь монастырь, и я это сделаю, как бы вы мне ни мешали со своей общественностью…  
По всей видимости, снимал это Урфин Джюс. То и дело слышится его закадровый голос:  
— Вы хотите уже оскорбить все общество!  
Хорошо виден главный редактор Грушин, он произносит патетически:  
— Вы мне напоминаете героя «Бесов» Петра Верховенского!  
Возле него — в рядок — Сундуковы:  
— Мы вам обещаем так испортить репутацию, что само священноначалие предпочтет избавиться от вас, отправить куда-нибудь с глаз долой — на Камчатку или в Воркуту — просвещать население.  
Гриша стоит, набычившись, выпячивая лоб и сжимая кулаки:  
— Вы уже так себя позиционировали, что я с удовольствием бы набил вам морду! — заикается он.  
Но там никого не видно, кто сопровождает отца Филиппа. То есть он абсолютно один. Один как перст. Он и они…  
Они окружили его, порой говорили одновременно.  
Зоя Олеговна:  
— Да ты хоть веруешь-то в Бога, а?  
Грушин:  
— Батюшка, вы веруете?  
Гриша:  
— Да он — Иуда, он Христа за один сребреник продаст!  
Опять Грушин:  
— Нет, вы мне даже не Верховенского — вы мне Смердякова напомнили, господин лже–наместник!  
Опять Зоя Олеговна:  
— Небось самому стыдно, ишь, голову опустил. Скажи — стыдно тебе, стыдно?  
Урфин Джюс:  
— Мы обо всем будем докладывать священноначалию. У нас — гласность. Вы за все ответите — и за казаков, и за безобразия в храме, и за бесчинства ваших прихожан.  
Снова Зоя Олеговна:  
— Ох, боюсь, его там в Патриархии и накручивают. Он придет в храм, отойдет душой, а его опять туда вызывают и внушают что-то, внушают. И у него — раздвоение. Совесть говорит одно, а канцелярия — другое. Может наступить непредсказуемый аффект.  
Журналист Сундуков:  
— Нам говорили, что уже один епископ за нас. Мы нашли случай передать ему информацию. Мы ждем от него публичной поддержки!  
И вновь Зоя Олеговна:  
— Боюсь я за твое здоровье, Филипп! Доверься мне как специалисту, как доктору! Тебе вредна эта суггестия, так можно и до невроза навязчивых состояний докатиться, а гам и целый букет: бред преследования, шизофрения, острый психоз!  
Журналистка:  
— Кончены ваши чекистские времена, лагеря и расстрелы, расстрелы и лагеря!  
Лаврищев:  
— Человек сам вынашивает в себе свое наказание! Хочу напомнить вам, что Христа тоже гнали!  
И вновь, и вновь Зоя Олеговна:  
— Ой, боюсь, придется с тобой помучиться. Очень уж ты себя запустил. Смотрю — нервы у тебя совсем сдают, психика лабильная, расшатанная… Зрачки расширены… Горе ты мое луковое! Ответить даже не можешь, все молчишь.  
Пауза.  
И вдруг — она же, но уже как бы на мою тематику:  
— Ну скажи хоть — это они тебя подучили, эти убийцы отца Александра Меня, ведь они? Неужели ты один из них, из этих убийц?  
— Да он бы точно его убил, не поморщившись, — грозно и почему-то басом произнесла Сундукова.  
— Так это он и убил! — выдвинул обвинение Гриша.  
Это прибавило общего возбуждения. Слышно было даже, как спорят за кадром: Филипп это убил или все-таки не он. Вроде даже кто-то сомневался в нем, ставил ему это свое сомнение в минус: «Да у него кишка тонка!»  
Наконец Филипп оборвал прения:  
— Так когда вы освободите монастырь? Все сроки уже истекли. Даю вам месяц. Через месяц мы огородим обитель высокой стеной, вынесем ваши вещи и запрем ворота.  
Раздвинул их рукой и вышел.  
— Беснование! — кинула ему вслед Зоя Олеговна. На этом кончился фильм.  
Конечно, мне было жаль отца Филиппа. Но я была так рада, что сама ускользнула от камеры. И хотя мне было стыдно, что я не пошла с Филиппом на эти переговоры, теперь я с облегчением думала, что избежала этих сетей. При этом я тяжело вздыхала, что, возможно, еще больше запуталась в них, хотя тут я абсолютно ни при чем. Но самое главное — я чувствовала себя виноватой. Мне хотелось тут же поехать объясниться с отцом Ермом. Может быть, даже припереть в скит телевизор с видиком и показать ему эту кассету. И все же я думала с отвращением, что мне придется что-то еще объяснять, оправдываться… Я решила побежать к отцу Филиппу и принести ему какое-то утешение — фрукты, бутылку вина. И тут же с ужасом представила себе, как буду входить в Рождественский церковный дом, рискуя встретить там лаврищевцев. Зоя Олеговна, врач–психиатр и эксперт высшей категории, была права, когда твердила мне о раздвоении. Наверное, это произошло тогда, когда я хотела скрыться с глаз долой и остаться сама по себе, но тем самым лишила себя выбора: в этом случае все было решено за меня, и мне была отведена определенная роль.  
— Вы уже доставили нашу видеокассету игумену Ерму? — спросил автоответчик голосом Урфина Джюса.  
— Что с тобой? Куда ты делась? Хоть объявись, что ты жива, — на этот раз произнес он с интонациями отца Филиппа. — Мне позарез нужна твоя помощь. Тут один француз…  
— Ну что ты скрываешься! — возмутился мой муж. — Как будто это может тебя от чего-то оградить. Пойди объяснись с Филиппом — или, в самом деле, помоги, или скажи честно — нет, я не буду ни в чем участвовать. Сколько же можно сидеть на осадном положении! Мне дозвониться никто не может, люди не любят разговаривать с автоответчиком, кладут трубку — и все.  
— Господи, — возопила я. — Ну почему мне не позвонит какой-нибудь аноним и не оставит сообщение, что-то вроде: «А не хотите ли смотаться на три дня в командировку в Питер? На недельку — в деловую поездку в Париж? Или ладно уж — в Париж — на десять дней — в Саратов, в глушь, можно даже в Иркутск, в Красноярск. Только срочно! Выезжаем завтра же! Нет, сегодня же, прямо сейчас!»  
Но никакой аноним так и не звонил. Зато пришло приглашение на литературный вечер. Безопасное занятие. Безопасное место. Только вошла в ЦДЛ, мне навстречу — можно сказать, главный лаврищевец, академик Рачковский.  
Подошел, взглянул заговорщицки:  
— Ну как там наша община? А то я только что из Бостона. Мне удалось заручиться поддержкой очень влиятельных и надежных людей.  
Я напряглась, собирая все свои познания в латыни, и глубокомысленно напомнила ему о страшных данайцах, приносящих дары:  
— Timeo danaos et dona ferentes!  
На следующий день с утра пораньше пришел Филипп с каким-то смуглым монахом. Отвел меня в комнату:  
— Ну ладно, на переговоры со мной не пошла, твое дело, так хоть приюти у себя этого раба Божьего. Он — француз, греко–католик, священник, приехал по приглашению отца Петра Лаврищева. Хочет принять здесь Православие и остаться в России. Но такие дела решает сам Патриарх. Он его прекрасно у себя принял, решил присоединить к Православию сразу после Пасхи и собирается приписать его к Рождественскому монастырю. Так что это будет мой насельник. А пока Святейший поручил мне испытать его, посмотреть на него в деле. А как я посмотрю? По–русски он — три с половиной слова: так только — «Православие», «атмосфер» и «культур», а я по–французски — ни одного. По–английски кое-как разговариваем. В алтаре: «Гив ми кадило, плиз!» Мне поселить его негде. И вообще — не до него сейчас. Кроме того — неизвестно, какого он духа. Приехал-то по приглашению Лаврищева. Поначалу он носился с этим французом, а как его мне отдали — шарахнулся в сторону. А может — это для маневра, а француз — его шпион? Впрочем, кажется, он и вправду почти ничего по–нашему не понимает. Тогда, может, лазутчик. Внедрится, выучит русский… Впрочем, это я так, на всякий случай. Глаза у него хорошие. Пусть приходит ко мне на службы помогать, на кухне что-нибудь приготовить, снег во дворе убрать, а так — сидит у тебя, русским занимается. Зовут его отец Гавриил. Он, между прочим, иеромонах.  
Остался у нас этот отец Гавриил. Действительно, по–русски почти и не говорил, а если и говорил, то так забавно у него получалось — во–первых, все у него выходило на мужской лад: существительные, глаголы… «Католики — это другой культур, совсем другой атмосфер». Я даже в шутку заметила ему, что, наверное, ему как монаху вообще свойственно отметать все женское… А кроме того — при хорошем музыкальном слухе у него был очень сильный французский акцент, и потому его русская речь казалась даже более французской, чем сама французская. Дети мои облепили его — он помогал им делать французские уроки. Они и звали его на французский манер — пер Габриэль. Так это имя к нему и прижилось. Через несколько лет я слышала, как деревенские бабки о нем говорили:  
— А отец Габриель-то наш — просто Ангел Небесный! Спаси его Господи!  
В юности он ушел в бенедиктинский монастырь, потом, полюбив и прочувствовав православное богослужение, перешел к греко–католикам, отправился в Иерусалим и там пятнадцать лет подвизался в суровой обители. Очень строгий там был устав. Богослужение длилось по восемь–десять часов. Великим постом расходилась братия по пустыне и питалась со всякой скудостью чем Бог пошлет.  
Встретил он у Гроба Господня русского православного старца (кажется, архимандрита) с Афона. Тот говорил по–французски, пригласил его в свой монастырь. Поехали они вместе на Афон. Помолились вволю и в Пантелеимоновом монастыре, и в Андреевском скиту. Побывали и у греческих подвижников — слава Богу, были тогда еще живы поистине святые мужи, о которых мы сейчас можем только читать с сердечным трепетом, — и старец Паисий, и Иосиф Исихаст, и Арсений Пещерник, и Ефрем Катунакский. Отец Гавриил был потрясен красотой Православия и понял, что наконец нашел то, что искал. Он попросил русского архимандрита стать его духовным отцом, выражая полную готовность быть послушным ему «даже до смерти». Тот благословил его ехать в Россию и, приняв Православие, там и оставаться. Но из-за того, что сам был приписан к Афонскому монастырю и считался греческим подданным, он не мог его официально пригласить. И тогда священник из числа русских паломников на Афоне предложил отцу Гавриилу помощь:  
— Я, — сказал, — вполне даже мог бы вас пригласить. Наша община очень заинтересована в том, чтобы к нам приезжали представители других конфессий, потому что мы на все смотрим очень широко.  
И вот так получилось, что отец Гавриил прибыл в Москву по приглашению отца Петра Лаврищева. Но приехал он не вовремя: как раз начались сражения за Рождественский монастырь, и отец Петр, как только узнал, что тот хотел бы перейти в Православие, перестал его опекать и просто отослал к Патриарху. По–видимому, отец Гавриил упомянул в разговоре со Святейшим Рождественский монастырь, тот одобрительно закивал и направил его прямехонько к отцу Филиппу.  
Поначалу Филипп отнесся к нему с некоторым подозрением. Все ему виделся здесь какой-то подвох — зачем ему в этой ситуации священник–униат, приятель Лаврищева? А мы его полюбили. Он был кроткий, добрый и умный. Все понимал — по взгляду, интонации, жесту. Иногда, закатав рукава подрясника, хозяйничал у нас на кухне — пек блины, делал из скисшего молока творог и варил суп. Готовил он превосходно. При всей своей яркой — какой-то южно–французской, гасконской, даже, может быть, испанской внешности — он умел оставаться незаметным. Если к нам приходили друзья, они сразу чувствовали эту его прозрачность, открытость: казалось, в нем не было ничего мутного, тяжелого, чуждого. Помимо родного французского, он знал английский, греческий, латынь и иврит, поэтому русский давался ему легко. Через какую-нибудь неделю он уже вовсю болтал с моим мужем о «церковний политик и церковний реформ»:  
— Церковь всегда новий, потому что в нем дышит живой благодать, он — живой организм, которий растет, но это не то, что у него вдруг прибавляется новий — третий — ног или ух.  
Когда он уходил в Рождественский монастырь и надолго там оставался, мы по нему скучали.  
По–видимому, он там тоже оказывался меж двух огней: как же, приехал по приглашению отца Петра, а помогает отцу Филиппу, но, кажется, не ощущал по этому поводу никакого смущения и, когда он заговаривал об этой странной ситуации, лицо его оставалось ясным и простодушным, и только изредка по губам пробегала улыбка, словно кое-что в своем двусмысленном положении он находил забавным. Может быть, он не все понимал, что творилось между двумя его русскими наставниками, не ощущал всей остроты конфликта и всего накала страстей. Но, скорее всего, он был просто смиренный человек, пытавшийся принять благодушно все испытания, которые встречались на его монашеском пути, и благословить Того, Кто его по этому пути вел, всецело доверяя Его милосердию…  
Меж тем начался Великий пост, и Габриэль не выходил из монастыря с раннего утра до глубокой ночи. Но на Торжество Православия он попросил отца Филиппа отпустить его на литургию в Богоявленский собор: там собирался служить сам Патриарх.  
Да и мне хотелось попасть туда — именно там, раз в год, на Торжество Православия, на патриаршем богослужении возвышенно и властно возглашалась анафема всем еретикам. Душа, трепеща, обмирала, когда хор приглушенно и протяжно трижды повторял за архиереем: «Анафема, анафема, анафема».  
— Пусть пойдет, — сказал мне отец Филипп, — ему это будет полезно, а кроме того — пусть постарается показаться на глаза Святейшему. Переведи ему — если Патриарх вдруг спросит, как ему в нашем монастыре, пусть не стесняется, отвечает, что Лаврищев все еще здесь и, кажется, не собирается никуда перебираться. Впрочем, я и забыл, что он по–русски почти и не говорит. Когда он мне помогает, я этого порой и не чувствую — есть у нас какое-то внутреннее понимание, взаимный отклик, диалог…  
Патриаршее богослужение начиналось на полчаса часа раньше воскресной литургии у отца Филиппа. И, проезжая мимо Рождественского монастыря, мы наблюдали там тишь да безлюдье.  
Служба на Торжество Православия действительно была торжеством, утверждающим великую власть Церкви. Когда она подошла к концу, Габриэль вздохнул:  
— Как я хотит получить мой причастий!  
Наконец, Святейший вышел с крестом, и Габриэль радостно устремился к нему. Тот узнал его, заулыбался, закивал, благословил, даже о чем-то спросил, и Габриэль, как я слышала, ответил, сильно грассируя:  
— Рождественский монастырь.  
Патриарх снова одобрительно кивнул и сказал уже громко:  
— Скоро будем присоединять вас к Православию. Готовьтесь!  
Габриэль это понял и благодарно поклонился.  
— Я чувствует в себе рождений новий человек! — сказал он мне, блеснув слезой.  
На радостях мы по дороге заехали во французское кафе и выпили по большой чашке настоящего кофе. Блаженные, отправились домой.  
— Православие имеет огромний благодать! — сказал Габриэль, когда вдали показался купол Рождественского храма. — Нигде больше нет такой. Ни католик, ни униат…  
И тут, поравнявшись с Рождественским монастырем, мы вдруг увидели, что весь его двор, все пространство перед храмом было заполонено клубящейся взбудораженной толпой. Она ходила ходуном, жестикулировала, а из самой ее гущи выглядывала огромная карета скорой помощи. Я резко затормозила и остановилась возле самого въезда в монастырский двор.  
Честно говоря, у меня мелькнула смутная шальная мысль насчет казачков — вдруг они пришли наводить порядок и наподдали кому-нибудь по первое число…  
— Посиди здесь, — попросила я Габриэля, — а я пойду узнаю, что случилось. Может, там какой-нибудь прихожанке стало плохо, и тогда ее сейчас увезут на скорой, а мы поедем заниматься русским. Во всяком случае, надо узнать. Даже мотор глушить не буду!  
Первое, что я услышала, смешавшись с толпой, было:  
— Душегубы! Убийцы!  
Внутри все екнуло, и я, работая локтями, смогла протиснуться на несколько человеческих корпусов вперед. Далее до меня донеслось:  
— Так он больной же! Невменяемый! Бился об стены, по полу катался, кусался, все в окно норовил выскочить! Госпитализация же для него — благо!  
И опять:  
— Злодеи! Христопродавцы!  
— Что случилось? — спросила я у двух женщин интеллигентного вида, в дубленках.  
— Поднявший меч от меча и погибнет! — с расстановкой произнесла одна.  
— Поднявший меч на наш союз, — многозначительно подтвердила другая.  
Я протиснулась между ними и распахнула дверь скорой: седой водитель курил и слушал Элвиса Пресли: «You are looking for trouble? You came to the right place…»  
— Вы за кем приехали? Что за повод — драка или болезнь?  
Он лениво посмотрел на меня:  
— Да попик какой-то рехнулся. Повезем сейчас мозги вправлять… Опиум для народа.  
И он захлопнул дверь.  
— Что происходит? — закричала я, схватив за лацкан пальто какого-то коренастого дядьку.  
— Еще одна психическая! — пробовал отбиваться он. — Каков поп — таков и приход!  
— Они отца Филиппа заперли в алтаре и бьют, — заплакала рядом девушка в цветастом платке. — А мы в алтарь-то не можем! Психовозку вот подогнали. Масоны!  
Я кинулась в храм, но все было забито народом, все толкались, пихались, но это были какие-то местные мелкие стычки, казаков не было, я ввинчивалась между телами и делала определенные успехи — до двери оставалось уже несколько шагов, как вдруг толпа ухнула, повалилась в одну сторону, и поверх голов я увидела, как несколько алтарников в церковных облачениях волокут, по–видимому, из боковых дверей, моего друга. Двое держали его под руки, третий толкал в спину. Следом двигался Урфин Джюс. Лицо Филиппа было изуродовано кровоподтеком — на скуле багровела огромная ссадина, волосы едва ли не стояли дыбом. Казалось, именно так человека ведут убивать! Он пробовал сопротивляться, но хватка дюжих лаврищевцев была железной. За ними, сохраняя даже некое подобие величественности, шел сам Лаврищев, поднимая кверху ладони, видимо, пытаясь успокоить людей. Завершали это ужасное шествие Зоя Олеговна, врач в белом халате и еще двое, кажется, санитары.  
Там, где я стояла, началась настоящая куча мала, ибо толпу сдвигали в стороны, открывая проход обреченному узнику, облепленному конвоирами. Я оказалась в ловушке — между мной и отцом Филиппом образовалась толща людей, через которую было не пробиться, не докричаться. Я видела, как процессия приблизилась к психовозке, обошла ее с тыла, и больше мне не было видно ничего. Я решила пойти на хитрость и сделала крюк, устремляясь не к эпицентру происходящего, а напротив — туда, откуда события уже безвозвратно переместились, и это мне куда лучше удалось, — я оказалась у дверей храма, пересекла его наискосок и вышла в те самые боковые двери, откуда только что вывели пленника. У этих дверей было почти свободно, там довольно вольготно стоял, скрестив на груди руки, Гриша и удовлетворенно следил за исходом. Я хотела ему что-то сказать и тут увидела, как психовозка, не имея возможности развернуться в церковном дворе, дает задний ход, увозя в своем чреве несчастного наместника Рождественского монастыря. Я было кинулась за ней, но толпа опять сомкнулась, и психовозка почему-то вдруг остановилась и принялась неистово гудеть. Мне был виден лишь ее плоский нос. Она врубила сирену, но не сдвинулась с места. Толпа колыхнулась, и мне удалось продвинуться на несколько шагов. Добравшись до угла, я увидела, что психовозка стоит, потому что выезд ей перегородила моя машина. За рулем сидел Габриэль, и даже издалека можно было видеть его огромные, какие-то треугольные испуганные глаза. К машине уже стягивалась целая фаланга лаврищевцев во главе с Урфином, мельтешил журналист Сундуков с видеокамерой. Все они что-то кричали Габриэлю, выразительно стучали себе по головам и подкручивали у виска, жестами показывая, чтобы он отъехал. Потом облепили машину со всех сторон, дружно поднатужились и перенесли ее на руках туда, где я ее и оставила поначалу. Психовозка дернулась с места и, не выключая сирены, покинула монастырский дворик. Габриэль рванул за ней. Моя машина скрылась из глаз вместе с французом.  
Пока я провожала их взглядом, соображая, что делать дальше, все — и отец Петр, и Урфин Джюс, и даже Гриша — куда-то пропали. Мало того, нигде не было видно и монахов отца Филиппа. В толпе еще бурлили страсти, но, по–видимому, лаврищевцев было в ней куда больше, чем прихожан отца Филиппа, то и дело слышалось: «Поделом!», «Бесноватый!», «Так он просто больной человек! Его пожалеть надо! А там его подлечат, так что пусть спасибо скажет!», «Господи, и это ему хотели отдать наш храм!». Я пробралась к церковному дому, вошла и позвонила на половину отца Петра. Мне открыл радостный, возбужденный Гриша.  
Видимо, у меня было такое лицо, что он тут же отступил в сторону, давая мне пройти.  
— Отец Петр — где?  
— Кушает.  
В коридор выходили три двери. Я распахнула первую, вторую. Он был в третьей. Сидел с Урфином и хлебал суп. Гриша рванулся за мной, пытаясь удержать, схватил за длинный шарф:  
— Так он же больной! Шизофрения. Дебют, — зашелся он в истерике.  
Получилось ужасно бестактно то, как я ответила ему. Но я вовсе не хотела уязвить его за словесную немощь, вышла какая-то игра подсознательного:  
— Даже и не заикайся об этом!  
— В чем дело? — отец Петр поднялся из-за стола, потирая руки так, словно они озябли. — Понимаю, у вас с отцом Филиппом были добрые отношения… Он даже хотел, чтобы вы представляли его сторону на переговорах с нами. И мы согласились. Но — все бывает! Сочувствуем! Диагноз поставил врач. Григорий его только вам повторил: шизофрения, острый дебют.  
— Куда вы положили его? — спросила я. И вспомнив, что почти именно так спрашивала Мария Магдалина двух Ангелов у пустого гроба, почти крикнула: — Куда его увезли?  
Отец Петр пожал плечами:  
— Бог знает… Я не специалист. Но вы не волнуйтесь. Его там подержат недельки две, подлечат, потом, если дело пойдет на поправку, выпишут. Ему нужен покой. Его, знаете ли, очень перегрузили этим неподъемным заданием. Мы соболезнуем. Будем молиться за него. Мы уже сегодня молились, когда это случилось с ним в алтаре.  
— Отец Петр вышел к прихожанам и попросил их святых молитв за тяжко болящего иеромонаха Филиппа! — подтвердил Урфин.  
— Он вообще последнее время был очень нервный, мнительный, болезненно мнительный, — сказал отец Петр. — Наша Зоя Олеговна первая заметила неладное — она ведь у нас заслуженный психиатр, эксперт высшей категории. У нее с самого начала были кое–какие профессиональные подозрения. И она как врач вела за ним наблюдение. А сегодня случилось обострение. Может быть, оно было спровоцировано этой тяжелой ситуацией — так бы жил он и жил со своей вялотекущей болезнью годы, и никто бы ни о чем не догадывался. Но — перенапрягся, переусердствовал… Вышел причащать с Чашей, к нему мои прихожане стали подходить — он им вопросы задает, разговаривает, помилуйте, какие в этот момент могут быть разговоры? Какие вопросы? — и в результате их не причащает… Ну я вышел, отобрал у него Чашу. Есть же какой-то предел!  
— Куда вы его запихнули? Где он, в какой больнице? — еще раз спросила я.  
— С ним наша Зоя Олеговна и наши алтарники. О нем позаботятся. Сейчас все узнают и нам сообщат. Мы вам позвоним. Ну а как там наш отец Гавриил? Он ведь у вас живет? Слышали от него о вас только хорошее, — примирительно сказал отец Петр.  
— Трудно ему будет, — вздохнул Урфин, — представления его, к сожалению, самые романтические.  
— Француз, — как бы давая свое объяснение его романтизму, всплеснул руками отец Петр, — французское легкомыслие: приехать в Россию принимать Православие вот так — с бухты–барахты… Я его предупреждал. Такой ортодоксикоз очень опасен. Не хотите ли с нами супу?  
…А отец Гавриил, или, как его все упорно потом называли, Габриэль, гнал в это время за психовозкой. По счастью, было же воскресенье, ни заторов, ни пробок — иначе бы не угнался за любителем Пресли, включившим сирену… Ехали долго, путано, Габриэль перестал ориентироваться — знакомые улицы кончились, все время куда-то сворачивали, переезжали мосты, гнали по одинаковым унылым кварталам, наконец психовозка остановилась перед воротами больницы, они распахнулись, чтобы закрыться перед Габриэлем. Он попробовал пройти на территорию своим ходом, но его не пустили. Языка он не знает, где именно находится, не понимает, телефона поблизости нет. Филиппа он потерял. Помочь ему ничем не смог. Что происходит, он не понимает. Увидел только из окна машины, когда ждал меня у монастыря, эту буйную толпу, которая вдруг расступилась, и к задним дверцам машины алтарники отца Петра приволокли отца Филиппа. Заметил, что на нем были еще поручи, которые он не успел снять после того, как отслужил литургию. Поначалу он подумал — наверное, ему плохо, раз его так тащат, может, сердечный приступ, но сразу понял, что тащат его не как больного, а как заключенного, толкают, пинают, запихивают, он сопротивляется, упрямо поднимает голову, они бьют его головой об край машины, заставляя нагнуть шею и влезть в дверь… Один из его монахов прорвался сквозь толпу, подскочил к психовозке, но — поздно. Двери уже закрылись. Он бухнулся на землю и лег под колеса, не думая о том, что водитель, подавая задом, мог его даже и не заметить. Однако, жилистая рука Урфина ухватила его за шиворот, какой-то детина из толпы взял его за ноги. Отволокли в сторону, передали в другие руки… Путь был открыт…  
Габриэль мигом перескочил на водительское сиденье. Мотор был заведен, и он только подал вперед на три метра, перегораживая дорогу… Может быть, надо было выйти из машины и раскидать тех, кто держал Филиппа и за руки, и за ворот? Но он был так потрясен происходившим на его глазах, что все это ему казалось невероятным. Монах, упавший под колеса «скорой», вернул ему трагическое ощущение реальности.  
Однако ничего он не добился, примчавшись сюда. Он вылез из машины и попытался объяснить охраннику больницы, что ему надо позвонить:  
— Телефонить? — произнес он, делая рукой жест, словно он прижимает трубку к уху.  
Тот отрицательно покачал головой. Впрочем, потом вышел из проходной и сделал жест, указывающий, что надо идти вдоль стены. Наверное, где-то там был телефон. Габриэль включил мотор и медленно поехал, выискивая его. Действительно, через двести метров он увидел одинокую телефонную будку. Но звонить по автомату он не умел, да и диск у телефона был вырван с корнем. Он поехал дальше и дальше, и, в конце концов, сделав круг, вернулся к тем же воротам. У него были часы — простые недорогие наручные часы, он снял их и постучал в будку.  
Охранник выглянул, и Габриэль предложил:  
— Я — телефонить, ты — получить сувенир.  
Охранник оглянулся по сторонам, взял часы и позволил ему сделать звонок. Габриэль набрал наш номер и сказал:  
— Филипп в четирнадцать больниц.  
Мой муж, который ничего и знать не знал, засмеялся и спросил:  
— Сколько–сколько больниц?  
Меж тем я вернулась домой, и message Габриэля был расшифрован.  
Надо было решить, стоило ли мне немедленно хватать такси и мчаться в эту, неизвестно где расположенную больницу… Я рванулась было позвонить Филиппову отчиму, а потом вспомнила — Миша–псих! Вот он, золотой ключик!  
Да, был у меня друг детства — Миша–псих, врач–психиатр, который настолько преуспел в своей шаткой науке, что сделался каким-то огромным светилом на психиатрическом небосклоне. Между прочим, он совершенно не обижался на свою кличку, списывая это на эксцентричность своей натуры.  
Например, он женился на женщине, которая, как он любил говорить, упала ему на голову. А если учесть, что всех женщин он называл «бабенками», то в его транскрипции это звучало так: «Моя жена — это та бабенка, которая свалилась мне на голову». И это была чистая правда — без всякой фигуральности. Его будущая жена была на какой-то вечеринке и сидела там на подоконнике второго этажа, откуда и вывалилась на улицу — прямо на проходящего Мишу. Так что их знакомство, перешедшее в многолетний счастливый брак, началось с членовредительства, потому что она сломала ему руку, а себе вывихнула ногу. Несмотря на то, что Миша честно пытался поймать эту хорошенькую, но весьма увесистую женщину, когда она падала из окна, и даже от этого сильно пострадал, мать его будущей жены относилась к нему с большим недоверием и скептицизмом, что его очень расстраивало. Он всячески пытался расположить к себе ее холодное сердце и придумывал для нее сюрпризы.  
Например, однажды он спрятался за дверь комнаты и, когда она вошла, вылетел на нее с веселым «гав!», заливаясь детским смехом: «Ну что — испугал?» Бедная женщина горько зарыдала, и пришлось ее отпаивать валерианкой и корвалолом.  
В другой раз он, сильно расстроенный ее ледяным приемом, вышел на балкон и вдруг увидел там — о, чудо! — цветочки, растущие в ящиках — и анютины глазки, и колокольчики, и левкои, и львиный зев. Залюбовался он такой красотой — дай, думает, подарю их будущей теще, пусть радуется. С удовольствием нарвал букетик, влетел к ней на кухню: «Елена Иванна! Это — вам!» Она сначала обрадовалась, заулыбалась, потом тень сомнения пробежала по ее лицу, она тревожно заметалась по квартире, выскочила на балкон и, увидев свой разоренный садик, залилась горючими слезами. Но все-таки он ее победил. Поехал за границу на конференцию, привез ей шикарную шубу — от души, самого большого размера, чтобы — побольше меха. Жаль только, что Елена Ивановна была такая худенькая и в этой шубе просто утонула — и рукава свисали ниже кистей, и полы волочились по полу. «Ничего, — радостно воскликнул Миша, — будете укрываться ею, как одеялом!» Кроме того, поскольку она очень поддерживала Горбачева с его реформами, он купил ей на рынке, а может, и специально заказал — за дикие деньги — какого-то огромного, в натуральный рост — лакированного картонного Горбачева и поставил посреди ее комнаты. И она как-то смягчилась по отношению к нему. Поняла, что нельзя предъявлять ему тот же счет, что и прочим людям. Миша — человек особенный, необыкновенный. Ученый, светило. Наша национальная гордость.  
Ему-то я и позвонила:  
— Выручай, запихнули иеромонаха в психушку.  
Назвала номер, фамилию, гражданское имя. Он очень удивился:  
— Но это — насильственная госпитализация! Ты понимаешь, что сейчас она практически неосуществима! Нужно, чтобы человек выкинул что-то криминальное — носился с ножом, с розочкой, бил стекла, резал себе вены… А если, предположим, он просто сидит, пуская слюни, и ест свое дерьмо, ты его никакими силами не уложишь без его согласия. Мы международную конвенцию подписывали. У нас это очень строго теперь. Да и вообще — необходимо письменное согласие родственников!  
Я вспомнила, как мы гонялись с отцом Борисом по ночному поселку за его босой Любой…  
— Не было никаких родственников, никакого согласия! С ним сводили счеты!  
— Но это невозможно! Ни один психиатр не может взять это на себя! Должна приехать милиция, забрать его, если он социально опасен, и только потом она уже может вызвать психушку!  
Мы договорились, что он заедет за мной и мы вместе поедем в больницу.  
В это время Габриэль увидел через стекло будки, как из дверей ближнего корпуса вдруг выходит вальяжная Зоя Олеговна, подъезжает психовозка, и в нее опять начинают запихивать бедного отца Филиппа. Габриэль положил трубку, кинулся к машине и включил мотор. Психовозка выкатилась на улицу, и он погнался за ней. Однако теперь водитель не особенно торопился. Он ехал с ленцой, будто нехотя, без сирены. Прошло полчаса, сорок минут, час — они все пересекали Москву, колесили по окраинам. Габриэль даже испугался, не собираются ли они увезти Филиппа куда-нибудь в частный загородный дом. Наконец остановились у ворот, и он прочитал, что это — тоже больница. В ворота его снова не пустили. На этот раз охранник наотрез отказался, чтобы Габриэль от него звонил, других наручных часов, даже и вообще чего-то ценного у монаха не было, он отправился искать автомат. Тут ему повезло — какая-то девушка дала ему монетку, объяснила, куда опускать… Он сообщил, что Филипп теперь в другом месте, в другой больнице.  
Меж тем Миша так ничего толком не разузнал, кроме того, что, естественно, в той первой психушке наш Филипп не числился. Тем не менее, он уже позвонил домой главному психиатру Москвы и доложил об этом вопиющем случае. Тот обещал оказать содействие и самолично выяснить обстоятельства и местонахождение нашего друга. Но я все же настояла на том, чтобы и мы не плошали, — Миша заехал за мной, и мы помчались по новому адресу вызволять уже не только Филиппа, но и самого Габриэля.  
По–видимому, с легкой руки московского главврача, в этой психушке был поднят полнейший переполох. К нашему приезду врачи уже были извещены о каком-то злостном нарушении и разве что не стелили перед нами ковры–дорожки, пока мы входили в отделение. Дежурный психиатр, который принял отца Филиппа из рук Зои Олеговны, глядел как побитая собака и все время оправдывался за какой-то укол, который успел ему вкатить. Филипп безмятежно спал, растянувшись на больничной койке. Миша потребовал, чтобы санитары перенесли его в его просторную «Вольво», мы же с Габриэлем поехали следом, как телохранители.  
— Сволочи! — только и сказал Миша–псих, когда мы перетащили Филиппа ко мне домой. — Вкатили ему какой-то сильный психотропик без корректора, а потом еще и лошадиную дозу снотворного. Будет его теперь корежить и ломать, когда проснется. Оказывается, эта бабенка, что его привезла, назвалась его матерью, сказала, что сама психиатр, сунув в нос свою ксиву, что «с моим Феденькой такое часто бывает, даже лицо, случается, он сам себе расцарапывает» и что «ему в таких случаях вкатывают вот это», — и протянула ампулу. Этот дежурный козел был, по–видимому, с бодуна, ничего не проверил… Только ширнул его — сразу ему от главного звонят насчет Филиппа. Так и так, насильственная госпитализация. На каком основании? Тут мы нагрянули… Влетит ему теперь — костей не соберет. Ишь, а в той, первой-то больнице его не приняли. Знают правила. Побоялись.  
К ночи Филипп проснулся, и его действительно начало корчить и тошнить. Миша вколол ему какое-то лекарство, тот затих и забылся.  
На следующий день он заехал проведать больного, а заодно сказал:  
— Я узнал, почему его поначалу повезли в другую больницу. Потому что именно там когда-то работала эта Зоя Олеговна. И именно там подвизался вместе с ней врач, который припилил на психовозке. Очень просто. Они кореши. Договорились. Может, она еще и ручку ему позолотила — для верности, утверждать не берусь: «Слушай, Петя, тут надо одного в психушке подержать». Он: «Будет сделано, Зойка, какие вопросы». Свои дела. — Миша покачал головой. — Ну, у вас, у церковников, я тебе скажу, все как у людей. И испанские интриги, и мордобой, и объявление Чацкого сумасшедшим. Жизнь бьет ключом. Мне это даже нравится. А то все — пост да молитва, молитва да пост.  
Филипп, который слушал его со страдальческой миной, вдруг оживился:  
— Еще бы! — в Евангелии ведь тоже вон какие страсти кипят! Какие дива творятся! Люди гибнут за металл; избивают младенцев; в награду за танец требуют голову пророка на золотом блюде; чародеи находят новорожденного Царя, следуя за звездой; четверодневный смердящий Лазарь по слову Христа выходит живехонький из гробницы; бесы умоляют Господа вселить их в свиней, а бесноватые свиньи низвергаются в бездну; Петр идет по водам; слепорожденные прозревают; паралитики бегают; прокаженные очищаются от проказы; а Христос бичом изгоняет торгующих из храма и, уже воскресший, проходит к Своим ученикам сквозь стены!  
— И еще Он исцеляет лежащую в горячке Петрову тещу, — вклинилась я, вспомнив, как в свое время Миша пытался угодить будущей теще.  
— Крутая, великая книга! — с воодушевлением заключил отец Филипп, сияя глазами. — Так что все происходит так, как и быть должно, как Христос и предупреждал.  
— Что же все-таки там произошло? — спросила я его наконец. — Они же не могли тебя так — ни с того ни с сего…  
— Только отчиму не говори, — умоляюще произнес он. — Отчим им кровавую баню устроит, а зачем? Я же, знаешь, сам хотел пострадать. Даже немного роптал, что Господь мне все какие-то коммунальные, канцелярские, ключнические скорби дает. Вот он и послал, по Своей великой милости. Так что схватили меня и прибили. Физиономию расцарапали. Чуть сумасшедшим не заделали… Ну, конечно, не просто так, не с кондачка… Нет, они долго готовились, — вздохнул Филипп. — Все равно, говорили, Филя, не сносить тебе головы! Куда ты полез! Да мы тебя за твои делишки посадим…  
— Не может быть! — поразилась я. — Они же вежливые, политически корректные…  
— Нет, — говорили, — мы — за демократическую законность, мы тебя не как Сталин, мы тебя по закону нашему посадим, по уголовке! Только сунь нос на нашу территорию в церковном доме, только тронь наше имущество! Мы тебя как вора и грабителя схватим! А вообще, повторяли, тебе лечиться надо. Зоя Олеговна все три месяца, оказывается, писала мою историю болезни. На видео меня постоянно снимали, как киногероя. Каждое слово мое записывали. А в воскресенье перешли к действиям — все было у них подготовлено. Ничего я такого против обыкновения не совершил, чтоб они так на меня набросились. Просто некоторые лаврищевцы, подходя к Чаше, когда надо называть свои имена, говорили про себя: «Пресвитер Олег. Пресвитер Игорь». Или — «диакониса Лариса, диакониса Ирина». Ты понимаешь, все у них там если не пресвитеры, то диаконисы! Просто какая-то церковь в Церкви. Я взмолился и — заметь — кротко им сказал: «Прошу вас, братья и сестры, только имена — без «пресвитеров» и «диаконис»». Ну, еще спрашивал — были ли они на всенощной, исповедовались ли, допустил ли их духовник к причастию — хотя это было бесполезно, я понимаю, Лаврищев всех своих заочно допускал. Но если они признавались, что на всенощной не были, я говорил: «Тогда вам нужно подготовиться, как положено, и причаститься в другой раз». Но это я им советовал всегда, когда стоял с Чашей… Они это знали — зачем же подходили к ней, не подготовившись? Явно какая-то провокация.  
Потом Зою Олеговну я из алтаря шуганул. Но я с самого начала запретил ей туда входить, и при мне она, кроме прошлого воскресенья, и носа не казала. А тут вошла как ни в чем ни бывало прямо перед самой «Херувимской». Я ей — пошла вон… Ну что это — баба в алтаре, а? Тоже мне, Екатерина Великая отыскалась! А она только фыркнула. Лаврищев за нее вступился: «Перестаньте гнать наших прихожан, отец Филипп! Помните свое место. Не вы здесь хозяин, а Господь наш Иисус Христос».  
Ну и, наконец, Векселев — этот твой Урфин Джюс. Когда отец Петр отобрал у меня Чашу, якобы потому что я отказывался причащать его прихожан, и потом, внеся ее в алтарь, поставил на жертвенник, ее тут же схватил Векселев и, жадно припав, стал потреблять. Этого уж я не мог позволить! С какой стати? Мирянин, а делает то, что положено лишь священнослужителю. Отнял я у него Чашу, так на меня сзади алтарники накинулись, заломили руки, повалили на пол, стали срывать с меня священнические облачения. Только поручи не удалось им с меня содрать. Так я лежал и кричал: «Помогите!» Один из моих монахов стоял в храме — разливал теплоту, раздавал просфоры, так он прибежал на крик: его тут же скрутили, запихали куда-то, наверное, в бывшую лаврищевскую уборную, куда еще, заперли там. Он оттуда тоже орал во все горло, но помочь не мог. Другой — отравился еще вечером, все ночь его тошнило, я его от службы освободил, температура под сорок. А Габриэль с Патриархом молился. Торжество Православия. Так что я оказался совсем один. Там, ты знаешь, алтаря практически нет — тонкая такая условная перегородка — так все было слышно. Шум в храме стоял ужасный. Потом Лаврищев вышел на амвон и призвал всех молиться за меня, потому что я, видишь, взбесился. В Евангелии было много бесноватых, пояснил он, и некоторых из них приходилось даже цепями связывать, чтобы они не сокрушили все вокруг. Через полчаса приехал этот врач из психушки.  
На мою расцарапанную физиономию глянул, на мои связанные руки, но они никакого впечатления не произвели. Зоя Олеговна что-то ему пошептала, сунула тетрадку, которую он, одобрительно кивая, полистал, потом подошел ко мне, зачем-то потрогал лоб и сказал: срочно госпитализировать. А я ему закричал: «Здесь совершается страшное насилие и ложь. Здесь священника бьют, оскорбляют и унижают!» Но он мне спокойно ответил: «Это у тебя бред преследования. Обострение!» Ты знаешь, Господа благодарю, что Он не позволил мне в какой-то момент схватить подсвечник да как звездануть кому-нибудь из них между глаз! А так, честно говоря, хотелось!  
— Еще бы! — подхватил Миша–псих. — Так и звезданул бы! Особенно этой психиатрической бабенке. Порой это бывает очень полезно, поверь мне. Не хуже, чем душ Шарко.  
— Мне нельзя! — вздохнул Филипп, — я — священномонах!  
Подозвал Габриэля, обнял его:  
— Прости, брат! Не очень-то я тебе доверял. Подозревал, что есть у тебя какой-то посторонний умысел — высматриваешь ты что-то, притворяешься, словно совсем ничего не понимаешь, а сам… Особенно один помысел против тебя мучил, когда меня в алтаре заушали, — а не специально ли ты удалился в другой храм? Может, знал о том, что здесь готовится? А сейчас понимаю — если бы не ты, валялся бы я сейчас, весь заширянный, в этой психушке. Вышел бы оттуда через месяц–другой с остановившимся взглядом и струйкой слюны. Присоединяйся поскорее к Православию, вместе будем праздновать его торжество, вместе молиться, служить, братию собирать, Господа славить!  
И Габриэль, просияв, ответил ему так, как принято на Афоне, и почти без акцента:  
— Буди благословенно!  
Все это так тронуло Мишу, что, уходя, он дал нам торжественное обещание немедленно перечитать Евангелие и постараться найти там себя в толпе людей, окружавших Христа.  
В среду утром Лаврищев был вызван в Патриархию, куда он отправился, думая, что его попросят дать объяснения о произошедшем в воскресенье в Рождественском монастыре. Он был уверен, что выиграл эту битву. Филипп — в психушке и, по уверению Зои Олеговны, будет пребывать там еще немалый срок для прохождения курса лечения, Габриэль — не в счет, темная лошадка, Рождественские монахи — побоку: одного вообще на месте происшествия не было, другой — буянил в алтаре, пришлось его временно изолировать, тоже припадочный, вырвался, стал под колеса машины ложиться, суицидные какие-то мотивы…  
Но, к его удивлению, старик–благочинный даже не стал его ни о чем спрашивать. Он просто молча протянул ему указ, подписанный Патриархом, из которого следовало, что он запрещается в служении до выяснения печальных обстоятельств специальной патриаршей комиссией, а его алтарники вместе с Векселевым и Зоей Олеговной отлучаются до поры от причастия. Кроме того, ему предписывается немедленно сложить с себя настоятельские полномочия и освободить церковные помещения как Рождественского монастыря, так и Введенского храма.  
На следующий день Филиппов отчим прислал к церковному дому рабочих, которые поменяли входную дверь на железную, после чего у входа остался дежурить Габриэль, имевший указание Филиппа лишь выпускать лаврищевцев из дома, но не впускать обратно.  
Они, конечно, стучались, ломились, называли его предателем и другими, еще более обидными словами, но иностранное звучание их не оскорбляло француза. Вещи лаврищевцам разрешили вывезти в присутствии милиции, и они, призывая на Рождественский монастырь карающую Десницу Всевышнего, оставили обитель навсегда. Кое-кто из них, правда, все еще ходил сюда на литургию, приступал к Чаше, сложив на груди руки, но Филипп остался непреклонен — не допускал никого из тех, кто не был на всенощной и не исповедовался. Кто-то из них все же отвечал утвердительно, что да, дескать, он и на всенощной был, и исповедовался, и разрешение от священника получил, и тогда Филипп его причащал. Но поразительно — этот, вкушающий Тело и Кровь, тут же из уст в уста передавал причастие собрату, только что не допущенному Филиппом к Святым Дарам.  
Все это напоминало Филиппу какую-то пародию на катакомбы, гонения христиан при императорах–нечестивцах, что-то этакое… Но поделать с этим он ничего не мог. Вскоре, впрочем, лаврищевцы выбрали для себя другой храм, и никого из них не осталось.  
В Патриархии было в деталях рассмотрено «дело Лаврищева», особенно ценные сведения предоставил Миша–псих. Он документально доказал, что имел место преступный сговор, повлекший за собой грубые нарушения медицинской этики, приложил справку из травмопункта о нанесении Филиппу телесных повреждений, которую успел взять, пока вез пострадавшего домой из психушки, и проч., и проч. Отец Петр Лаврищев угодил под запрещение в священнослужении — теперь уже до покаяния. Также было подтверждено отлучение от Святого Причастия и для его ближайших сподвижников. Они все ушли в подполье и затаились, потому что не желали ни в чем каяться. Напротив, они объявляли на весь свет о своей правоте, продолжая настаивать на том, что наместник Рождественского монастыря сошел с ума. А кроме того, они распустили по Москве слух, будто бы отца Петра Лаврищева ортодоксы довели до диабетической комы, и врачи отрезали ему ногу. Конечно же, всех это потрясло. Старик благочинный даже и прослезился: «Да, вот как бывает-то! Не слишком ли жестко мы с ним обошлись?» Однако через весьма малое время отец Петр появился в каком-то присутственном людном месте как ни в чем не бывало — на двух ногах.  
Габриэль — иеромонах Гавриил — был присоединен к Православию еще до Пасхи — на Вербное воскресенье. Однако Святейший решил отправить его в далекий Свято–Троицкий монастырь, чтобы он там «вкусил истинного Православия». И он отбыл туда на Светлой неделе.  
Рачковский эмигрировал в Америку — что ж, последние годы он практически там и жил. Однако поразительно, что он получил в США статус беженца. От кого и от чего же он бежал? Он бежал, как выяснилось, от гонений на Церковь. В Сенате ведь уже имелись данные о гонениях на общину отца Петра, ну вот логически из этого и вытекало, что от этого гонения должны были появиться и беженцы.  
Грушин написал гневную статью, которую напечатал в «Общей газете». Там он клеймил какие-то махровые черные силы и, наоборот, восхвалял силы светлые. Призывал этим черным силам дать по рукам. Много и с пафосом говорил о духовности. И вообще было понятно, что он представлял себе внутрицерковные конфликты исключительно по аналогии с борьбой каких-то политических партий, и, честно говоря, даже сами лаврищевцы морщили носы, читая его.  
Написал небольшую заметку и Рачковский. Она сводилась к тому, что о драматических событиях в алтаре Рождественского монастыря может рассуждать только тот, кто непосредственно там присутствовал. И я подумала: ну да, а если бы ему самому в темном переулке дали бы в нос, то что — об этом никто бы и говорить не смел? Да вся общественность бы кричала многие годы, как «фашисты избили нашу интеллектуальную гордость».  
Зато Сундуковы сделали «на деле Лаврищева» журналистскую карьеру. До сих пор то тут, то там появляются их написанные в соавторстве статьи, где пережевываются все те же события, честно говоря, уже поросшие быльем.  
А отец Ерм не взыскал с меня за дружбу с Филиппом. Так, подулся немного, это выражалось в том, что он меня совсем ни о чем не расспрашивал. А если я начинала что-то рассказывать о московской жизни, особенно об отце Габриэле, он сразу переводил разговор на другую тему. Впрочем, лишь однажды спросил: «А чего он из католичества перешел? Зачем? Может, он просто не разбирается?» Но лично мне никаких обид он не предъявлял.  
Может быть, потому, что лаврищевцы сразу после отлучения рванули к нему как подписанту. Уже в мае они разбили возле его обители палатки, рвались на хутор к Николаю Петровичу, да он их к себе не пустил. Спросил их, как водится у него, через порог:  
— Отрицаешься ли сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всея гордыни его?  
А они, вместо того, чтобы ответить ему в простоте: «Отрицаюся!», начали умничать о фундаментализме, о полных членах… И он захлопнул перед ними дверь.  
Они и расположились табором прямо у Преображенского скита, варили на кострах еду в котелках, ходили на службы, стояли там шеренгами, держась за руки и заглушая монашеский хор своим пением, а также — увы, жизнь есть жизнь! — пользовались монастырским туалетом и умывальником, что для такой маленькой обители было очень и очень обременительно. Кроме того, они достали из своих баулов пособия по катехизации и принялись катехизировать самого игумена Ерма с братией, доказывая, что те до окончания их курсов могут считаться не более чем оглашенными. И отец Ерм их просто всех взял и выгнал. Да, он умел быть несговорчивым и крутым!  
Отец же Филипп наконец-то принялся восстанавливать свой монастырь. Очевидно, проклятия лаврищевцев не достигли Всевышнего, поскольку на монастыре до сих пор чувствуется какое-то особое благоволение Божие, какая-то сугубая благодать. Кажется, непрестанно звучит над ним праздничное песнопение «Ты еси Бог, творяй чудеса». Отец Филипп даже завел себе специальную тетрадку, куда и начал записывал свидетельства великой помощи Божией, даже хотел потом издать это отдельной книжечкой, которая бы назвалась — ну, скажем, «Чудеса Рождественского монастыря», но старец Игнатий сказал, что еще не настал строк.  
И все идет своим чередом — монастырская братия совершает свой молитвенный подвиг, множится и принимает к себе всех приходящих. В том числе и казаков. Правда, отец Филипп строго предупредил железнозубого атамана–станичника:  
— Так ты, конечно, — казак. Но вошел в Церковь — и ты уже ни эллин, ни иудей…  
— Не понял, — вяло и подозрительно протянул атаман. — Какой еще иудей?  
Филипп замешкался, раздумывая, как бы ему это объяснить получше, и тут ему пришел на выручку отчим:  
— Кончай бузу. Священник тебе сказал, так слушайся. Оставь свое казачество за дверями храма, зачем оно тебе там сдалось? А в храме — ты уже просто человек Божий, понял? Там уже — только Бог и душа. И ребятам своим скажи.  
Жаль только, что Рождественский храм маловат — во время воскресной литургии многие прихожане уже там не помещаются: им приходится молиться у дверей и слушать службу через динамик. А что же делать? Даже ночные литургии, которые служит в своем монастыре отец Филипп, не решают проблемы…  
А у меня с тех — теперь уже давних — пор лежит любопытная кассета. Нет, не та, где переговоры, другая. Она мне досталась по дружбе от одного телеработника. А ему эту кассету принес лаврищевский журналист. Может, Сундуков, может, кто другой. На этой кассете — видеозапись всего, что происходило в тот день на Торжество Православия в Рождественском храме.  
Вот Филипп выходит с Чашей, вот Лаврищев ее у него отбирает, вот Филипп выгоняет Урфина Джюса, вот на него накидываются алтарники, бьют, пинают, валят на пол. Приезжает врач, щупает ему лоб, дает распоряжения грузить его в психовозку, крупным планом — два санитара, далее — его тащат по двору алтарники, запихивают в машину, монах кидается под колеса. Габриэль перегораживает путь, дюжие парни поднимают мой автомобиль и уносят его с дороги.  
— Зачем он это снимал? Зачем принес на телевидение? — удивилась я.  
Телеработник ответил:  
— Так он считал, что все, отснятое здесь, играет им на руку. И просил, чтобы я крутанул в новостной программе. Ему казалось, что это должно всколыхнуть общественность и обратить ее на сторону Лаврищева. Но я его убедил, что это — настоящее свидетельство обвинения. И втихаря снял для себя копию. Вдруг пригодится…  
Честно говоря, этот фильм, кроме самого последнего кадра, я не могу смотреть. Но этот, последний, вновь показывает мне мартовский черный снег, суетящихся странных людей, поднимающих машину, а в ней — отважного француза в православной монашеской скуфье. Он изумленно смотрит так, словно видит, как на его глазах у нас вырастает третье ухо или третья нога, и земля качается, уплывая прочь.  
— Ортодоксикоз, — почему-то вспоминаю я, выключая видик.

**Не те китайцы**

Преподобные старцы Свято–Троицкого монастыря предрекали, что в последние времена за кратчайший срок в монастыре сменятся три наместника. Первый — приведет монастырь в полный упадок, но и заложит фундамент его грядущего процветания. И будет он, хоть и весьма своеобразным, но и вполне благочестивым. Им, по всем признакам, оказывался архимандрит Нафанаил, погоревший за то, что он захоронил в святых пещерах главу воронежской мафии. При втором — монастырь будет переживать тяжелую пору духовного обнищания, но это продлится весьма короткое время. Сам же он будет лютым, и многие из братии хлебнут при нем вдосталь из чаши скорбей. И это, без сомнения, игумен Платон, веригоносец. Зато третий наместник, предрекали старцы, будет, как Ангел небесный — любящий, милостивый отец всем монахам. И при нем монастырь поднимется вновь, как кедр Ливанский, как древо, насажденное при «исходищих вод».  
И вот действительно — при игумене Платоне в монастыре водворились почти всеобщее уныние и печаль. К власти пришла мордовская родственность, и монахи, которых Господь не украсил принадлежностью к оной, стали испытывать на себе гнет этой обширной семьи. Особенным прещениям подвергались те из них, которые пришли в обитель из крупных городов, особенно из Москвы и Петербурга. Они были на подозрении, числились у отца Платона в «неблагонадежных», и по отношению к ним почти открыто проводилась политика «выдавливания» их из монастыря на приходы…  
А что за жизнь монаха где-нибудь на приходе? Что такое монах без монастыря? На приходе монах чахнет и тускнеет, выветривается, превращается в соль, потерявшую свой вкус. Неизбежно начинает жить своевольно. Теряет благодатные плоды послушания. И вместо жития ангельского, которого он так желал, он принимается вести наимирскую жизнь. Ведь он оказывается в миру, прямо в гуще его, прямо в самом вихре житейских попечений, хозяйственных забот. В самом горниле страстей. То есть именно там, откуда он уходил в монастырь. И мятется, одинокий, как оторванный лист на ветру. Ибо — «что добро или что красно? Но еже жити братии вкупе».  
Да и женский пол получает к такому монаху весьма легкий доступ. Увидит его в храме — красивый, длинноволосый, глаза ясные, облачения золотые, холостяк. И начнет какая-нибудь поселянка ухаживать за батюшкой — носить ему молочко, яички, мести ему пол, и сам он и не заметит того момента, как вкрадется она ему в полное доверие. Застигнет его в минуту слабости, утешит в час скорби, полностью обезоружит в миг искушений. Вот уже беспрепятственно и по головке погладит, и за руку возьмет. То есть сама станет как бы частью его монашеского обихода; вот его четки, вот его полушубок, а вот — она. И как это произошло? Как она сюда попала? Так незаметненько, сантиметр за сантиметром, и вошла в его жизнь. И теперь можно только вытолкать ее в шею. Но без боя она уже не уйдет. И вот все-таки выгонит он ее, сядет посреди избы, а душевный мир уже потерян, где она, благодать? — тоска, тоска… Многие даже начинали утешаться от этой тоски — поначалу красненьким, ибо сказано, что оно веселит сердце человека, а потом уж и серенькой. И мне приходилось видеть таких монахов, которых переламывала эта приходская жизнь.  
И вот были отосланы игуменом Платоном на приходы по деревням огромной епархии иеромонахи Амвросий, и Мелхиседек, и Агафангел, и Феофил, и Авель, и Севастиан. Все — монастырские духовники, крепкие, духовные, молитвенные люди — костяк монастыря. Иустин удержался в монастыре каким-то чудом. Старец Игнатий попросил наместника:  
— Не забирай у меня мою радость.  
Потому что иеромонах Иустин был светел лицом, и радостно было даже смотреть на него. Такой Иван–царевич — победитель Змея Горыныча… Часто, когда старец изнемогал в болезненной немощи, Иустин приходил к нему в келью читать монашеское молитвенное правило и зимой украшал ему келью маленькой рождественской елочкой, а летом — букетиком полевых цветов.  
А сам наместник Платон стал готовиться к перезахоронению воронежского Витали. Уже и место подыскали на городском кладбище. Но приехали на сороковой день лысые да черноочковые на своих вольво и мерседесах, только шепнули ему что-то походя на ушко, мол, не трожь братана, и дело с перезахоронением как-то само собою заглохло. Отец Платон с монастырской братией отслужили по Витале панихиду, записали его на вечное поминовение, братва уехала с миром, а гроб мафиозо — странное дело — перестал вдруг вонять.  
И иеромонах Иустин говорил:  
— Судя по всему, отмолили мы этого разбойника. Видать, помиловал его Господь по монашеским нашим молитвам. То-то сатана лютовал и нам мстил за спасенную эту душу: наместника нашего снял, братию монастырскую разогнал.  
И в подтверждение зачитывал истории из синодиков. Первая была про некоего Щера, ростовщика, решившего во спасение души построить на свои деньги храм. И что же? Душа его все равно угодила было в ад, но, по молитвам людей, молившихся за него в этом храме, участь ее была изменена. И хотя она и не достигла райских обителей, все же была извлечена из огня. А вторая история — про сына некоей вдовы, нажившей себе состояние блудодеяниями. Когда она умерла, сыну открылось, что попала она в самую геенну серную, и великое злосмрадие распространялось вокруг нее. Тогда благочестивый сын раздал все имение нищим и, придя к некоему старцу, попросил того помолиться вместе с ним о спасении матери. Стали они горячо молиться, так что разверзлись перед ними небеса, расступилась земля, и увидел сын свою тонущую в огне мать, простиравшую к нему руки. И он протянул ей руку, чтобы вытащить ее из кипящего зловония, и она ухватилась за нее и выбралась на твердую землю. И старец сказал: «Ну все — отмолили мы ее горючими слезами и милостыней». И возблагодарили Бога. И сын ликовал. Но та рука, которой он вытаскивал из ада несчастную мать, навсегда осталась у него обоженной, изуродованной, так что пришлось ему заматывать ее тряпицей, ибо невозможно было без содрогания даже взглянуть на нее.  
И получалось, что и монахи вытащили из преисподней Виталю–разбойника, пострадав за него…

И вот как раз в эту пору приехал в Свято–Троицкий монастырь иеромонах Гавриил, Габриэль. Патриарх, после того, как тот отслужил несколько литургий на Светлой неделе в Рождественском монастыре, отослал его на неопределенное время в эту славную обитель, чтобы он здесь «надышался духом истинного Православия». Может быть, именно так бы оно и получилось, да попал он сюда явно не ко времени: у игумена Платона очень уж обострился «нюх на масонов». А тут Габриэль — нос с горбинкой, глаза с прихотливым разрезом, черные кудри, южный загар. Да и сам, поди, вчерашний католик, только давеча из Израиля, еврейский язык знает… Но куда ж деваться бдительному игумену от патриаршего благословения? Надо его посланца принимать, где-то поселять, приспосабливать к монастырскому послушанию. Ну отец Платон и поселил его — иеромонаха — в общую келью к новоначальным послушникам, крепко–накрепко им наказав «остерегаться масонского духа». А в качестве послушания поначалу дал ему допотопный ржавый трактор, у которого к тому же не хватало доброй половины деталей.  
Но Габриэль что-то приладил–приспособил, подкрутил–подмазал, и трактор заработал, только уж очень неистово его трясло, и французский тракторист, скачущий на нем посреди рассветного гумна, напоминал скорее какого-нибудь мачо, укрощающего необъезженного мустанга. А кроме того, что-то в этом тракторе непрестанно бурчало и плевалось, а также стреляло, взрывалось и дымилось, превращая окрестность в настоящее поле брани с незримым противником. И все же настоящей битвы за урожай так и не получилось, потому что глупая машина оказалась ни к чему более не способна, кроме как бессмысленно и громогласно заявлять о себе.  
Наконец наместник, объезжавший поля и привлеченный этой батальной страстью, сложив руки рупором и пытаясь перекричать мотор, грозно вопросил своего чернеца: «А где же твой КПД?» И когда Габриэль, стараясь удержаться в седле, напрягшись и превратившись в слух, думая, что речь идет о какой-то детали, звучащей к тому же на французский манер «капэдэ», стал беспомощно оглядываться и даже шарить вокруг, виновато пожимая плечами: мол, нету, куда-то запропастился, вроде был, но пропал, игумен Платон решительно приказал: «Кончай балаган!» И поставил его малярить под мостиком, соединявшим наместничий корпус с главным монастырским храмом. «Это тебе не Израиль», — походя бросал он Габриэлю. Потому что наместник Платон подозревал, что Патриарх поручил ему этого пришлого монаха исключительно для того, чтобы здесь из него выбили чужеродный дух и, как сказано в Псалтири, пасли его «жезлом железным».  
Но Габриэль на него не обижался — у него за спиной была уже длинная, кропотливая и искусная школа монашеского послушания: он всегда оставался ясным, спокойным и благожелательным. Он помнил чудную историю из жития преподобного Серафима, которую ему рассказал в назидание его русский старец с Афона. Была она о том, как преподобный Серафим старательно переносил с места на место тяжелейшие камни. И когда его спрашивали, удивляясь видимой бессмысленности этого тяжкого труда (или, по наместнику Платону, «отсутствию капэдэ»): «Что же ты делаешь, честный отче?» — тот отвечал: «Я томлю томящего меня». Так и Габриэль понимал, что игумен Платон всего–навсего «томит томящего». И таким образом, он просто становится соработником своего чернеца и выполняет свой духовный наместничий долг… И, честно говоря, Габриэль был счастлив, как может быть счастлив лишь настоящий воин Христов, наконец-то выпущенный на поле битвы, видящий своего внутреннего врага и владеющий неотразимым оружием против него.  
Вот потому он и хранил полное благодушие, которое, казалось, окружало его, как облако, распространяя вокруг себя почти осязательные волны умиротворения. Так что вскоре новоначальные послушники — его соседи по общей келье, затаив дыхание, слушали рассказы о его суровой жизни в униатском монастыре и особенно о его паломничествах на Святую Гору. Радость его омрачало только то, что наместник не ставил его служить, словно не доверял его священству…  
И вот однажды, когда Габриэль в шапочке из газеты и в синем бумазейном халате, натянутом на подрясник, малярил под мостиком, ведущим в наместничьи покои, в монастырь приехала делегация французов. Собственно, она приехала не в монастырь, а в местную воинскую часть и представляла собой некую важную международную комиссию, ни много ни мало из НАТО, а уж наши военные шишки и повели этих знатных иностранцев в Свято–Троицкую обитель: а какие еще есть в Троицке достопримечательности, кроме знаменитых пещер и храмов?  
Принимал их сам наместник — такие большие военные начальники пожаловали. И вот угораздило их остановиться на мостике, аккурат над тем местом, где трудился в поте лица своего смиренный иеромонах. Но проблема была в том, что переводчица накануне потравилась от щедрых возлияний, которые происходили в воинской части, и теперь она вела себя не совсем адекватно, то хватаясь за поясницу, то за лоб, то за живот, и казалось, совсем плохо понимала не только по–французски, но и по–русски.  
— А что, кажется, у вас священникам разрешается жениться? — спросил наместника один из французов.  
— Да, — сама отвечала переводчица, как в тумане, словно забыв, что ей надо переводить.  
— А где же жены? — удивился француз.  
— Священницы? А кто их знает, наверное, сидят себе по комнатам и шьют. — И она махнула рукой в сторону корпуса.  
— Шьют? — удивился француз. — А что именно?  
Вся группа уже с интересом прислушивалась к их разговорам.  
— Да кто что. Что хотят, то и шьют. А что им еще остается делать? Гулять же им здесь запрещено… Никто их никогда здесь не видит.  
— Так они что — держат своих жен в тайне?  
— Полнейшей! — отрезала она, поняв, что завралась и борясь с приступом тошноты.  
Наместник стоял рядом с ней и кивал, делая вид, что он тоже участвует в беседе, что он тоже в курсе…  
И тут из-под мостика раздался голос, который на чистейшем французском языке произнес:  
— Это монастырь, и здесь нет никаких жен. Эта женщина явно шутит.  
Французы в изумлении перегнулись через перила и увидели какого-то мизерабельного, измазанного краской бородача с газетой на голове.  
— Кто вы? — закричали французы. — У вас великолепный французский выговор, где вы научились так говорить?  
Вытащили его из-под мостика, окружили, закидали вопросами и были просто потрясены. Ибо слово за слово выяснилось, что их самый главный француз, руководитель комиссии, был учеником родного брата нашего Габриэля — почтенного французского генерала Гастона Делакруа.  
— Я так почитаю моего учителя! — объяснял всем самый главный француз. — Но вы, как вы сюда попали и что здесь делаете? И почему у вас такой плачевный вид?  
Габриэль, кротко улыбаясь, сказал несколько слов. Про Иерусалим, про Афон, про русского Патриарха.  
То и дело раздавалось это:  
— О! О!  
А наместник, которого эти басурмане оттеснили, стремясь как можно ближе протиснуться к Габриэлю, стоял на отшибе с военными шишками и делал свирепое лицо. Словно что-то почувствовав, его смиренный чернец вдруг спохватился, сказал:  
— Ну, передавайте привет моему брату, Франции, а я пошел работать…  
Но французы не хотели его отпускать, они наперебой стали упрашивать переводчицу передать и военным шишкам, и наместнику их просьбу, чтобы этот симпатичный их соотечественник, родной брат славного французского генерала, русский монах пообедал вместе с ними. И наместник вынужден был позвать Габриэля в наместничьи покои на трапезу.  
А тем же вечером, как только монастырь покинул последний из натовских басурман, игумен Платон вызвал к себе Габриэля, объявил ему, что раз у монастыря от него «нет капэдэ», то пусть он «чешет на приход». Хотя Габриэль и уловил общий смысл — ну, что он должен уезжать куда-то из монастыря, но все же кое-что оставалось ему совершенно непонятным: вернувшись в келью, тщетно в отчаянии искал он это таинственное «капэдэ» в словаре, неясным также оставался вопрос и о том, что именно он должен «чесать».  
Получил он назначение в сельцо со смешным названием Мымрики. Даже ландшафт вокруг Мымриков изменял себе — ни широкошумных дубрав, ни огромных красноватых сосен, ни озер и холмов, на которые так щедра прекраснейшая собой епархия: повсюду угрюмые тянулись поля, медленно перетекая в тяжелые низкие небеса, и лишь кое–где шустрил мелкий непроходимый кустарник, сам этакий мымрик. И черные унылые хаты выглядели тоже как настоящие мымрики, и — о, ужас! — даже и жители чем-то напоминали именно мымриков: они смотрели на Габриэля исподлобья, угрюмо и подозрительно, и казались единой семьей, ибо сама их мрачность была похожа на какую-то родовую черту. Почему-то они ни за что не хотели пускать к себе Габриэля. Самые решительные вышли с дрекольем к храму, крича:  
— Сколько ты заплатил нашему владыке, чтобы он назначил тебя к нам в село? Вот и уезжай в свой Израиль.  
Игумен Платон, что ли, успел их предупредить: «Будет вам иерей, только вчера с Израиля, по всему видно — масон», но тогда зачем же он сам отправлял сюда этого патриаршего ставленника, этого, по сути, «чужого раба»?.. И у отца Габриэля то и дело как-то само собой вырывалось из груди восклицание, обращенное вроде к нему самому, но такому давнему, прежнему, еще парижскому, ухоженному и благополучному юноше, родному брату французского генерала: «Поль Делакруа, как ты сюда попал?»  
Но на самом деле мымриковцы так враждебно встретили Габриэля, потому что, оказывается, они ждали, что им пришлют священника–земляка — владыка Варнава его только–только рукоположил, и теперь они ожидали его к себе. Увы! — они еще не знали, что священник–земляк все-таки предпочел остаться в городе и уже, не без стараний с его стороны, получил там храм.  
— Забот с тобой не оберешься! Видишь, сам церковный народ не хочет тебя принимать! — кричал на Габриэля отец Платон, когда тот вернулся через двое суток назад. — Ну ладно, пошлю тебя в Малую Уситву, но если и там тебя не примет церковный народ…  
И послал его в село с полуразрушенным двухпредельным — зимним и летним — храмом: по всей видимости, когда-то здесь был небольшой монастырь. Называлось это все Малая Уситва. Но Большой Уситвы нигде не было, как Габриэль ни шарил по карте, изучая окрестность. Зато рядом располагалась деревенька, названная попросту Лев Толстой.  
Место же было красивое — не то что Мымрики: озеро, в которое с крутого холма струились источники, сливаясь у подножия в небольшой водопад, густые леса, изрезанные ручьями и речками, образующими кое–где песчаные отмели… Порой он подолгу сидел здесь, слушая шум и звон воды и наблюдая, как она все убегает и убегает прочь.  
Жить ему было практически и негде, никаких церковных построек не сохранилось, поэтому он снял угол за занавеской у старого грубого бобыля. Тот сам наказал:  
— Как меня звать, спрашиваешь? А так и зови — Бобыль. — И говорил ему каждое утро: — Эх, француз, француз! Сидел бы у себя во Франции на печи да в ус не дул. А как мы твоему Наполеону наподдали, а? А западло он приперся к нам? Зачем было бузить? Вот и схлопотал.  
А вечером, когда они пили чай, спрашивал:  
— Нет, ну ты вот скажи, а зачем он сунулся сюда, твой Наполеон? Чего его понесло? Зачем надо было по нашей земле блудить? Чего ему там, во Франции у себя не хватало? Так нет — западло ему было лезть!  
Почему-то этот Наполеон очень его волновал.  
В конце концов этот Бобыль, у которого все причудливо переплелось в голове, так и стал называть Габриэля попросту «Наполеон». «Наполеон, надо бы дров наколоть!» «Наполеон, а принес бы воды». А Габриэль смиренно и откликался:  
— Хорошо.  
Первым делом помыл у Бобыля сортир и вычистил помойку. А потом принялся жечь мусор, мести двор, даже улицу перед избой…  
Потому что даже и этот грубый Бобыль тоже ведь был не просто так, тоже ведь служил Габриэлю: томил томящего. Что на него обижаться, чего злиться? Ведь так можно и на Господа возроптать — зачем Ты меня сюда послал? Почто мучаешь меня как Мучитель! Почто истязаешь как Истязатель!  
К тому же и этот неуемный томящий время от времени все спрашивал Габриэля, все восклицал:  
— Поль Делакруа, как ты сюда попал?  
А порой, так прямо и скатывался на вопросы Бобыля:  
— Делакруа, а Делакруа, зачем ты сунулся сюда? Чего тебе не хватало?  
И Габриэль просто перестал его слушать. Только тот за свое, а Габриэль хвать тряпку, хвать ведро и — мыть сортир, мести двор. Только тот загнусавит: «Делакруа…», а Габриэль на это: «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?»  
Крепко усвоил Габриэль это емкое слово — «западло». И еще выучил новый глагол — «бузить». И, бывало, кротко вразумлял старушек:  
— Бабулья, западло ты мстиль соседка! Зачем бузиль?  
— Что ты, что ты, батюшка, каюсь, просто грех был, а не западло, — пугались они. — Тут уж не до бузы.  
Но его полюбили. Хороший батюшка, простой. Чудно так говорит, словно чирикает, а иной раз и крепким словцом не брезгует — как сказанет! Любая бабка при нем себя вроде как профессором филологии чувствует — снисходительно кивает да мысленно ошибки его у себя в уме поправляет. И вот ведь еще — не пьет батюшка. А глаза веселые. А сам — ни–ни. Прежний-то вон как закладывал — и полугода не продержался, убрали его. А с другой стороны — что тому было делать, когда все мужики в Уситве пьют да пьют? Сами ему подносят, а не выпьешь с ними — обидятся: ты нас не уважаешь, поп. Только один Бобыль и не пьет. Так на то он и Бобыль.  
Вот и на Габриэля эти мужики стали коситься: может и хорош, да не наш человек. Себе на уме. И зачем он к нам в Уситву из своей Франции прикатил? Может, и шпион… Может, Франция его послала присмотреть для нее посевные земли и тайком их все скупить… Все скупить — и Уситву, и Мымрики, и Лев Толстой, и сам Троицк. Вот оно как! И Габриэль чувствовал на себе эти подозрительные взгляды мужиков.  
— Нет, Поль Делакруа, все-таки объясни, чего тебе не хватало в твоем Отечестве, на Святой Земле, на Афоне, что ты сюда-то полез, как ты сюда попал? Тоже мне нашелся — Наполеон!  
В такие минуты, честно говоря, даже и хотелось Габриэлю выпить — не водки, конечно, — вина, вина. Терпкого такого, густого вина, которое на бокале оставляет свой пунцовый след, а на языке подрагивает и чуть–чуть горчит… Которое разогревает, веселя сердце, подгоняет кровь и делает ярче взгляд… Но, во–первых, такого вина в сельпо нет как нет, а во–вторых, если и Поль Делакруа начнет здесь пить, то — пропал иеромонах Гавриил, пропал западло…  
Но все это исчезало, обращаясь в ничто, как только он распахивал ветхие и почти срывающиеся с петель Царские врата и возглашал, переполняясь уже нездешним блаженством: «Благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго Духа!» И это благословенное Царство воистину наступало, обнимая и Уситву, и Мымрики, и Лев Толстой, и Иерусалим, и Афон, и вообще весь мир. Ах, нигде, наверное, нигде и никогда не молился иеромонах Гавриил так истово, так слезно, так горячо. Никогда так не устремлялся от земли к небесам, никогда столь беспомощно не умолял Господа: «Помилуй нас!» Никогда с таким страхом и трепетом не приступал к Евхаристии, как в алтаре поруганного храма села Уситва, где шатался под ногами пол и куда сквозь дырки в куполе капала дождевая вода.  
По ночам, читая за занавеской Псалтирь, он особенно остро чувствовал, что все здесь сказано исключительно про его заброшенное Бог весть куда одиночество, про эту пронзительную богооставленность маленького Поля Делакруа. Но и про великую любовь Божию, поднимающую свое творение из самых бездн, из роковых теснин и возносящую его к самому Престолу Господа Сил.  
Здесь, за ситцевой засаленной занавеской, в утлой темной хате он всем сердцем чувствовал присутствие Самого, в умилении взирая на странный образ, привезенный им с Синая: лицо Христа на нем строго и асимметрично, и трагично, и одушевлено. Душа изнемогает, истончается перед Ним, делает самовластные радостные попытки его вместить. И, трепеща, отступает в смиренной немощи, ожидая Его, умоляя, чтобы Он Сам прикоснулся к ней… Он смотрит со властью: «Аз есмь Бог», но это власть великой любви…  
С блаженным жаром в сердце лепетал Габриэль: «Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя. Господь утверждение мое и прибежище мое, и Избавитель мой, Бог мой, Помощник мой, и уповаю на Него, Защититель мой, и рог спасения моего, и Заступник мой».  
И все исчезало — и хатка, и занавеска, и даже сама Псалтирь. Оставались только душа и Бог. Душа, изнемогающая от любви, и Бог, любящий ее до смерти. Душа и Бог. А это, по присловью Афонских старцев, и есть монах.

Как-то я заехала к нему по пути в Преображенский скит. Отец Филипп узнал, что нашего француза отправили из монастыря в какую-то Уситву и отметил ее для меня кружком на карте, — иначе бы я не нашла. Мужик на бензоколонке, которая, по моим расчетам, была уже совсем рядом с этой Уситвой и возле которой начиналась развилка, ответил на мое «где?» весьма загадочно, как в волшебной сказке: «Ну если по той дороге поедешь, будешь блудить, а если по этой — за семь верст киселя хлебать».  
…Был уже вечер, и по уситвенским улицам клубились сумеречные возду?хи, летали длинные дымки, в одном из дворов курились костерки — по ним я и нашла Габриэля. Он жег мусор, стоя с граблями посреди двора и глядя куда-то вдаль. Увидел мою машину, узнал, кинулся отворять ворота, благословил меня крестным знамением, спросил, словно перекликаясь с тем мужиком с бензоколонки:  
— Ты как, не очень долго блудиль? Долго искаль? А у меня тут большой успех в русский язык, в народний речь.  
Провел меня в избу, поставил на стол миску огурцов, нарезал большими ломтями хлеб, принес граненые стаканчики. Я вспомнила, что когда он жил у меня в Москве, то все недоумевал, почему это у нас чашки подают мокрыми. Теперь, должно быть, он оставил этот свой предрассудок, этот «цирлих–манирлих».  
Я привезла ему от отца Филиппа бутылку французского вина и изрядный кусок козьего сыра: мол, утешься, друг! Рождественский монастырь ждет тебя не дождется. Мы выпили по стаканчику, и он рассказал мне и про отца Платона, и про французского генерала, и про Мымрики, и про Бобыля… Вздохнул, переходя на русский:  
— Жизнь здесь очень суровий. Я венчаль жених и невеста, и вся Уситва пиль три дня, так что жених вдруг умираль. Я его отпел. И вся Уситва — скорбель. И тогда опять пиль два дня. А сейчас уже третий день. Опять пиль. Суровий жизнь!  
И уже по–французски добавил:  
— Проповедь хочу сказать. У меня уже все и приготовлено — здесь и здесь. — И он показал на свой лоб и на сердце. — А ты мне помоги все это по–русски сказать. Скумекаль? — вставил он вдруг между французских слов. — А то бабулья не поймет (baboulia ne comprendra pas).  
Ну хорошо. Взяла я у него с полки словари, разложила, раскрыла тетрадь:  
— Давай!  
Он улыбнулся, начал что-то говорить, но почти сразу замахал руками: не то.  
Тогда поднялся из-за стола, встал передо мной, как на амвоне, как на облаке, как на воздусех, даже крест иерейский надел, вновь улыбнулся, откашлялся, сделался вдруг серьезным и словно обо мне забыл:  
— Как же любит человека Бог! А человек все не доверяет Ему, не верит в Его любовь.  
Я добросовестно все это записала большими русскими буквами.  
— Бог с самого начала учил человека любви. Можно сказать, что Он только и учил его — любви. Только любви. Одной любви. И Сам терпеливо ждал ее, ждал, когда человек, наконец, поймет, что это такое, когда он, наконец, полюбит…  
— Помедленнее, — попросила я.  
— Но на протяжении первых двадцати двух глав Книги Бытия человек все никак не может ее почувствовать, все никак ее не узнает, все никак не полюбит. Первый, кто дорос до любви, — Авраам. Бог сказал ему: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Первая человеческая любовь — любовь отеческая и жертвенная, это та же жертвенная Божественная любовь, любовь, какой Бог возлюбил мир, возлюбил каждого, каждого человека.  
— Ну куда ты загнул — какой еще Авраам, Исаак, кто это здесь поймет? — Я даже отложила тетрадь и ручку.  
Но он уже не слушал меня, продолжал, вдохновляясь:  
— Ну все равно. Если слова не поймут, то поймут смысл. Если не поймут смысл, почувствуют энергию смысла. Если не поймут головой, поймут душой… Потом Бог раскрывает человеку супружескую, материнскую, братскую любовь. Исаак возлюбил Ревекку, жену свою. Ревекка любила Иакова, своего сына, и Иосиф любил Вениамина, который был его брат: «Удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату, и плакал там».  
Но я уже и не пыталась переводить — так вдохновенно он говорил, да и текст был сложен, я просто сидела и слушала.  
— И вот, лишь когда люди вкушают этой братской любви, Господь начинает им говорить о любви к Богу. Но братская любовь появляется у человека раньше — любящий Господа прежде возлюбил своего брата, и эта — вторая — любовь, любовь к Богу — служит доказательством первой. Только тогда и звучит это: «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим». И тут же — неразрывно: «Возлюби ближнего своего как самого себя».  
Он посмотрел восторженно и отчужденно — словно заглядывал к себе внутрь.  
— И далее — заповедь новую даю вам: «Да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».  
Вздохнул, переводя дух:  
— И вот я хочу сказать им, именно это переведи, это очень важно: это все одна и та же любовь, заповеданная еще Моисею на горе Синай. Это — АХАВА. Это — любовь к Богу и ближним. Да, это одна и та же любовь! И тот, кто любит Бога, тот любит и тебя, моя дорогая маленькая бабулья на кривых ногах.  
И тут он взглянул на меня и даже сделал жест в мою сторону, но, видимо, нечто промелькнуло в этот момент в моих глазах. И он засмеялся:  
— Да не ты, не ты! То есть и ты, конечно, и ты… Но это одна и та же любовь! Одно и то же! C’est la m?me chose!  
На этом проповедь кончилась, и мы выпили еще по стаканчику.  
— Но разве это одна и та же любовь? — спросила я. — То — Бог, а то — человек.  
Но он замотал головой:  
— Это — одна и та же любовь. Это — не отношение, это совсем другое. Это — иная субстанция, иное поле, это — новая жизнь. Ведь сказано же: пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть любящий уже обожен. Он сам становится Богом по благодати.  
Я попыталась остановить его, мол, что значит любящий, в каком это смысле? Может, в мирском: «Make love not war» или в католическом — начиталась же я всяких латинских житий, в которых святые испытывают к Богу какое-то почти эротическое чувство. Одна святая Анжела чего стоит! Все время тает в сладкой истоме, не может найти себе места от любовного томления, да что там — сам Крест Христов представляется ей брачным ложем. «Я же от сладости Его и от скорби об отшествии Его хотела умереть! Могла я всю себя ввести внутрь Иисуса Христа», — кричит она и при этом в ярости бьет себя так, что монахиням приходится силой выводить ее из костела…  
Я взглянула на Габриэля, но лицо его было столь чисто и целомудренно, что я устыдилась своему уточнению.  
— А кстати, почему ты оставил католичество? — вдруг спросила я.  
Он поморщился, ответил нехотя, произнес по–русски:  
— Ну это совсем другой мистик, другой аскез.  
Замолчал, подыскивая слова, снова перешел на родной язык:  
— Все очень по–мирски: небо приспособлено к земле и начинает жить по ее законам. Папа становится наместником Христа. Церковь превращается в государство. Дух подменяется воображением. Человеческий ум претендует на статус Божественного. Подвижники, думая, что умерщвляют плоть, лишь распаляют в себе чувственность… Ты знаешь, что они потеряли уже Европу?  
— Кто потерял? — испугалась я.  
— Католики. Европа уплыла из-под них, и они остались кучкой стоять на маленьком островке. Европа больше не желает их слушать, не желает их знать. Она говорит: вы — такие же, как я, — так почему я должна слушать вас? Что знаете вы, чего бы не знала я? Что есть такого у вас, чего бы не было с избытком и у меня? И если я сейчас начну вас гнать, кто из вас прольет за Своего Бога кровь? Так где же ваша любовь? Где же ваша жертва? Кто из вас положит душу свою за ближнего? А какая любовь без жертвы? Так говорит Европа.  
А католики разводят руками: но мы ведь так хотели понравиться тебе, слиться с тобой, тебе угодить, заслужить твою похвалу… А в Православии все не так.  
— А как?  
— В Православии земля должна преобразиться в небо, моя Уситва должна вознестись, как Илья–пророк… Мымрики, посыпав голову пеплом, — просиять, как Небесное Царство. А Троицк — предстать как собрание херувимов.  
Он вдруг замолчал, почувствовав, что говорит со страстью. Потом прибавил, уже совсем спокойно, совсем тихо:  
— Конечно, и среди католиков есть прекрасные, самоотверженные люди. Но я говорю о самом принципе, о самом устроении… Поэтому — это я уже продолжаю свою проповедь, предупредил Габриэль, — главный вопрос Бога к человеку: «Любишь ли ты Меня? Любишь ли ты Меня больше, нежели они, другие?» Потому что — если любишь, ты уже со Мною. Уже ничто не отлучит тебя от любви Моей: мы с тобой едины и потому ты тоже стал Богом.  
Снова замолчал, сдерживая волнение. И снова заговорил:  
— Да, ничто не отлучит — ни скорбь, ни теснота, ни комфорт, ни гонение, ни благоденствие, ни голод, ни пир, ни нагота, ни убранство. Потому что ты пребываешь во Мне, и Я — в тебе. Это, собственно, и есть жизнь, и нет никакой подлинной жизни, кроме этой, кроме любви… Все прочее — ад, смерть, тление, позор, вонь, деревенский сортир.  
Такой словесный гибрид у него получился — «сортир villageois». К тому же по–французски его мысль звучала очень легковесно: «Dieu est Amour». Это в сочетании с гранеными стаканами, початой бутылкой, кривой лавкой и ржавым ножом тянуло на обычный русский застольный разговор.  
— И что, ты здесь, в Уситве, — полюбил всех? Они хорошо приняли тебя?  
Он махнул рукой:  
— Это все равно, как они приняли, это все не то, не о том… Но я — да, полюбил. Иначе зачем я здесь? Зачем Бог меня сюда посылал? Зачем доверил мне их? Или так — доверил, а я их не люблю… Он любит, а я говорю — фи, я не люблю. Кто я? Разбойник и вор. Но я — полюбил! Каждую большую и маленькую бабулья, каждый дедок (это звучало совсем по–французски: dedoc) здесь полюбил, Бобыля, Мымрики, Лев Толстой, всю народность, которая называет себя mordva. Потому что понял, как всех любит Бог. Как же я могу не любить того, кого любит Он?  
Меж тем — там, за окнами избы, начинало что-то твориться, происходить, послышался рев безумной машины с оторванным глушителем, визг тормозов, мельканье огней, крики людей… Я плеснула нам еще по глоточку, но он сказал:  
— А как же проповедь? Ты лучше переводи и записывай. Давай сначала. Бог нас любит, как никогда никого никто. Да, именно так! Потому что именно нам Он благоволил дать Царство, украсить венцом, заколоть тельца упитанного…  
Ну это уж было слишком!  
— Не замай! — послышалось с улицы.  
— Стоп, стоп, стоп, — сказала я, — так не пойдет. Так проповеди не пишут. Во–первых, ни твой дедок, ни твоя бабулья ничего не поймут. А во–вторых, если и поймут, как ты говоришь, душой, то сами испугаются — венец, телец… «Эх, куда загнул!» — подумает бабулья, не поверит. Нет, ты убеди ее чем-нибудь из ее жизни, из ее обихода. Ну вот, например, любит она своего драчливого петуха, гогочущего гуся…  
Хотела еще сказать — грязного порося…  
Но мне не дали довести до конца эту наглядную, но сомнительную аналогию, — в избу ворвался низенький лохматый мужик с небольшим горбом. «Бобыль, хозяин», — шепнул мне Габриэль.  
— Наполеон, — закричал тот — посмотри, что там твои христиане творят!  
— Что случиль? — вскочил испуганный Габриэль.  
— Да Лexa, сторож твой церковный, дерябнул самогонки с шофером нашим и давай бузить. Влез в самосвал, завел его и теперь носится, как оглашенный. Никто не может его остановить. Собаку уже какую-то придавил. Глушитель, видать, сорвал: носится и ревет, носится и ревет. Тебя, Гаврила, зовут, чтобы ты их остановил.  
Мы выскочили на улицу. Было уже темно. Габриэль погнался было за самосвалом, помчался в черную даль. Потом понял, что это бесполезно — гнаться. Лexe же самый интерес был носиться по деревне и потому он, выезжая из нее на шоссе, тут же круто и разворачивался, стремясь обратно. И Габриэль стал ждать. Караулить пришлось недолго: раздался рев, и самосвал с включенным дальним светом ворвался в село, подпрыгивая на колдобинах. Габриэль встал посреди дороги, поднял руки, требуя остановиться. Ночной пыльный ветер играл его подрясником, на котором серебрился большой иерейский крест. И вот Габриэль осенил себя крестным знамением, взялся одною рукой за крест, а другую, которой имел он власть благословлять и разрешать от грехов, выставил перед собой, и его ладонь приказывала: именем Господним говорю тебе — стой! Но безумец мчался, не сбавляя скорости, прямо на него.  
— Габриэль, назад! — заорала я.  
Но ему и самому вдруг показалось: вот оно, все, конец! Славно попутешествовал ты по святой Руси, Поль Делакруа, пер Габриэль, отец Гавриил, убогий француз, православный иеромонах, раб Господа своего! Славно попировал ты на Божественной Трапезе Господней! Много ты видел святых чудес и всяких земных диковин… Жаль только, не все успел сказать здесь о любви… Но всякому странствию на земле положен предел… Ибо сказано: «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна; кая ли слава стоит на земли непреложна; вся сени немощнейша, вся соний прелестнейша: единым мгновением, и сия вся смерть приемлет…»  
Чем-то таким на него вдруг повеяло — из иного мира, жаркой волной…  
Но Господь сохранил. В самый последний момент выхватил его из-под колес, вдохнул силу и легкость отскочить в сторону, но так, что самосвал задел край развевающегося подрясника и обдал монаха своими парами, ветрами, гулом, безумием, грязью.  
Габриэль, испуганно улыбаясь, вытер со лба испарину: «Слава Тебе, Господи!», сказал:  
— Буду опять ждать здесь. Каждый раз буду так его останавливать, пока не придет в себя.  
И он вновь перекрестился.  
Действительно, минут через пять вновь послышался рев, и скрежет, и визг. И Габриэль вышел на дорогу, преграждая путь. Я кинулась к нему:  
— Надо прямо на дороге развести костер! Не поедет же он в огонь.  
Но было поздно. Грузовик уже шарахнул по нам дальним светом, и Габриэль пихнул меня в сторону, сам сделал в канаву сальто, а самосвал как ни в чем ни бывало лихо понесся дальше.  
В сторонке сбились в кучу притихшие мужички и с интересом наблюдали картину.  
— Обидно, — сплюнул один из них, по–видимому, шофер грузовика. — Только что заправил полный бак. Так что нечего рассчитывать, что бензин скоро кончится. Все три сотни километров может так гонять. Истратит весь.  
— У тебя что, корова курит? — спросил у него Бобыль.  
— Н–нет, — изумленно ответил тот.  
— Тогда, значит, у тебя сарай горит, — хитро и многозначительно отрезал Бобыль.  
Меж тем стали разводить костер. Наспех подкладывали в него бумагу, коряги, сучья. Бобыль приволок даже кусок старого штакетника. И теперь настоящее пламя бушевало посреди Малой Уситвы. А грузовик все не унимался. Словно Лехе даже и понравился такой дорожный бой. Он снова развернулся и помчался, как на тореадора разгоряченный бык. Но огонь преградил ему путь. И тогда он резко крутанул руль, засигналил, ударил по тормозам и врезался в сарай — прямо напротив избы Бобыля. И встал.  
На него накинулись шофер и Бобыль, хотели было скрутить ему руки. Но он не сопротивлялся — он был мертвецки пьян. Достаточно было отворить дверь самосвала, чтобы он вывалился оттуда, как куль. Испугались даже, не помер ли он в аварии, уж не в обмороке ли… Потащили в избу, уложили на кушетку, и тут вдруг он раскрыл пьяные зенки и прохрипел:  
— Врешь — не возьмешь!  
Видимо, он, крутя баранку, действительно думал, что это такая игра, соревнование, мужская борьба…  
Габриэль велел Бобылю запереть Леху в летней светелке, чтобы он проспался, а кроме того — хоть немножко побыл в заточении и почувствовал скорбь покаяния. Шоферу же, который все еще был очень даже не трезв, запретил до утра прикасаться к его самосвалу — пусть все так и останется, покуда не рассветет. Мужички нехотя разошлись.  
Я отправилась ночевать в машину, загнанную во двор. Улеглась на заднем сиденье, подушечка там у меня красненькая, плед. Единственное, о чем я успела подумать, прежде чем уснуть блаженным сном, это о том, что ведь жития являют нам уже преображенный образ святого, жизнь его, очищенную от плевел: все там по своему чину, все на местах, сплошные колосящиеся злаки. А на самом деле, наверное, и к ним просачивался мир со своею непредсказуемостью, спонтанностью, с чем-то таким, что можно было бы назвать нелепостью, несуразностью, даже каким-то абсурдом, маразмом жизни…  
Ну вот, скажем, какой-нибудь великий подвижник забрался на вершину, опустился в земную пропасть, укрылся в непроходимой пустыне, молится день и ночь, и вдруг кто-то его за плечо — цап. Нет, не искуситель, а так — озабоченный поселянин: «Мил–человек, ты тут не видел моей козы?» Начнет по келье шарить, под лавку заглядывать, в кружку смотреть, словно коза могла спрятаться там. Да еще привяжется — ну раз козы моей не видал, тогда купи у меня окуньков (грибков, войлока, ситца, пеньки, хомутов, сена, соли, кобеля, щегла). Словом, что-то такое повседневно–странное, житейски–нелепое, стойкое, живучее, пахучее, пресное, пряное, прорастающее через самые толстые стены и не ведающее — от лукавого оно или же от Творца, наверняка сопровождало и подвижника… И тут я провалилась в сон.  
Но жизнь в Уситве все продолжалась. Только Габриэль наклонил голову к подушке, только закрыл глаза и начал было смотреть особые монашеские сны, как вдруг ему явственно послышался все тот же ужасный звук то ли мчащегося, то ли буксующего самосвала. Он полез в карман подрясника и нащупал ключ зажигания, который он взялся хранить до утра. Он с облегчением вздохнул и снова закрыл глаза. Но тут раздался ужасный треск, взрывы, рев мотора. Он вскочил и выглянул в окно — самосвал делал отчаянные попытки дать задний ход и выехать из сарая. В конце концов ему это удалось, и он вывернул на дорогу, переехал через потухший костер и унесся в даль. Габриэль как был — босиком метнулся к светелке. Дверь была распахнута. Лехи и след простыл. Но как же, — подумал Габриэль, — ключ-то ведь у меня! И тут, словно отвечая на его мысли, зевая и потягиваясь, Бобыль лениво проговорил:  
— Да надо ж было скумекать! Он же народный умелец, этот Леха. Ему машину завести без ключа, как тебе два пальца, — тут он замялся, подыскивая слова, — приложить к третьему и перекреститься. Ей–богу, вот не сообразили. Да он проводки соединил напрямую — и был таков!  
И Габриэль снова понесся в ночь. По счастью, самосвал был уже изрядно попорчен, и то ли бензин из него сам вытек, то ли что-то забарахлило в моторе, но он через сто пятьдесят метров намертво встал. Здесь Габриэль и отловил умельца. Взял его за ухо и привел назад.  
И вот после этого случая с самосвалом все в деревне стали Габриэля побаиваться и уважать. Вот это по–нашему! Герой! Все-то, кто пил с Лехой, попрятались, а он… Ну, шофер — тот за свой самосвал переживал. А французу-то чего? Спал бы себе и спал. А он как наш славный Александр Матросов — грудью на амбразуру, как наш Гастелло — на таран… Пьяный Леха точно бы разбился, да еще покалечил бы односельчан… Даже Бобыль совершенно переменился к Габриэлю. Так наутро ему и выдал одобрительно, прищурясь хитро:  
— А ты не так глуп, как я предполагал!  
И никогда больше не дразнил его этим глупым Наполеоном, не тыкал ему ни битвой при Бородине, ни переправой через Березину, ни пожаром в Москве. А звал его почтительно: «отец Гавриил». И просил его забыть это глупое «Бобыль»:  
— Павел я. Пашей и зови. И вот еще что, больше таких слов не употребляй, не надо тебе — все эти «западло», «бузить». Это все лишнее. Это не для тебя — у тебя ж сан!  
Разобрал завалы в светелке, печку там выложил — живи, монах, а то все ютишься за занавеской, как мышь. Бабки стали молочко им носить каждое утро, яички, картошку, пирожки. Зачастили в храм. А службы там длинные, монастырские — целыми днями молился Габриэль, словно напрочь позабыв обо всем земном. Так и бабки по нескольку часов кряду по вечерам стоят… Габриэль пожалел их, соорудил, добрый плотник, скамейки — «бабулья, садись!».  
Стали к нему, молитвеннику, заезжать паломники Свято–Троицкого монастыря… Из Льва Толстого ходили. Из Мымриков стали наведываться — то повенчать просили кого, то покрестить. И удивительно: так смотришь на них — ну вылитые мымрики, а как в храм Божий зайдут, как помолятся, как к иконе приложатся, как причастятся, так уже никакие вовсе и не мымрики, а прекрасные такие, пригожие люди, светлые лица, преображенные существа, можно даже сказать, «новая тварь»!  
Потом из Москвы к нему потянулись. Стали в Уситве да в Льве Толстом заброшенные избы покупать… Тетушка из Франции прикатила, привезла денег на восстановление храма. Плавала в уситвенском озере, купалась в двенадцати источниках, стекающих в него и сливающихся в водопад. Похвалила:  
— Да ведь эта вода целебнее, чем наша Виши.  
Увезла с собой две бутылки во Францию, собиралась даже запатентовать…  
А как же проповедь? Да никак. Так мы ее тогда и не сочинили. Потому что когда я наутро вновь приступила к нему — ручка, тетрадь, словари, он сказал, глубоко вздохнув:  
— Ты прав. Тут нужен особый язык. А то они меня не поймут. Но это не французский, не русский, это другой язык, свой. Я еще не готов.  
Открывая ворота и глядя, как я выезжаю на улицу, где вчера бушевал огонь, он вдруг крикнул мне:  
— Но только это совсем не то, что ты сказаль — петух, гусь…  
— Что-что? — сначала не поняла я. И вдруг вспомнила, засмеялась. Засмеялся и он, замахав рукой. Потом сложил пальцы, начертал в воздухе огромное крестное знамение:  
— Чтобы ты не блудиль!  
Так и стоял на дороге, глядя мне вслед, пока я не выехала на шоссе.

А между тем на Свято–Троицкий монастырь стали обрушиваться бесконечные несчастья. За мафиозо ли, за разгон ли монахов или за что-то еще — Бог весть. То на хоздворе взбесилась огромная монастырская собака — матерый «кавказец» — и загрызла насмерть молодого послушника. То в многовековой дуб ударила молния, и вниз рухнула огромная ветка, придавив садовника монаха Матфея, так что его, всего переломанного, уложили в монастырский лазарет. То послушник, оказавшийся из бывших уголовников, ткнул вилкой в бок своего соседа по келье — того самого старого чекиста, которого отец Филипп привозил к игумену Ерму.  
Звучит это, конечно, очень страшно: бывший уголовник — ткнул вилкой в бок — старому чекисту — в монастырской келье — ай–ай–ай! Что же это за монастырь!  
Но на самом деле этот грозный уголовник был несчастнейший человек. Угодил он в лагерь по «бытовухе» — за то, что дал в ухо своему соседу по коммуналке, между прочим, ударнику рок–группы «Паутина»: тот сидел у себя в комнате и постоянно репетировал на своих тарелках и барабанах. Все время слышалось его «бум–бах–трах–тарарах». И в конце концов схлопотал от соседа. А подружка ударника вызвала милицию и засвидетельствовала факт избиения, еще и навесила на него кражу денег. Вот он и загремел на три года. А они тем временем выписали его из квартиры, приватизировали ее и продали. И сами стали менеджерами этой рок–группы. А у него не осталось ни кола ни двора. По счастью, сидел он в лагере с каким-то верующим человеком, тот его и привел ко Христу. И он оказался в монастыре.  
Вел он жизнь строгую и подвижническую — почти ничего не ел, не спал, не болтал, все только «да–да» и «нет–нет». Свою часть кельи занавесил простыней и молился за ней ночами, отбивая поклоны. Цепью вокруг чресел себя обмотал, по примеру древних подвижников. Говорил — самое слабое место это у человека: любая дрянь через это место к нему подход найдет. Но, по духовной неопытности, стал осуждать нерадивую братию: какие ж они монахи — вон брюхо себе набьют, языки начешут, спать завалятся — какая ж у них молитва? И подловил его лукавый на этом осуждении.  
Как-то его сосед по келье — старый чекист — принес в келью четвертинку:  
— Помянем мою жену, Катю–грешницу. Ни литургию по ее душе не могу заказать, ни панихидку, потому как сама на себя руки наложила. А так — по–свойски, келейно, почему бы не помянуть: сегодня ровно три года, как ее нет.  
А уголовник, как пришел в монастырь, повторяю, ни капли не пил и жил впроголодь. А чекист ему:  
— Ну не фарисействуй так уж. Сказано — надо душу свою положить за други своя… Понял? Душу! А ты глоток не можешь сделать по любви к ближнему!  
После этого бывший уголовник сделал-таки глоток. А потом — еще один. А потом еще. Сидел, размахивал вилкой с соленым огурчиком. А у бывшего чекиста и еще один мерзавчик обнаружился… Ну и с пьяных глаз попер на бывшего уголовника:  
— А ты что для Родины делал, когда я служил в разведке? Когда немецким коммивояжером притворялся? Когда шкурой рисковал, пробираясь в тылы врага? Ты на зоне грелся? У параши отлеживался?  
Вот и схлопотал. Сбросил бывший уголовник с вилки огурчик да как ткнул ею в жилистый чекистский бок, — вилка аж погнулась, алюминиевая, хлипкая.  
А старый чекист как заорет… На крик сбежались послушники, а Дионисий так даже подушкой стал вразумлять бывшего уголовника. А тот уже и сам сидит ревет в три ручья:  
— Братия, простите меня, бес попутал! Это мне за то, что я вас осуждал! Только не сдавайте меня ментам!  
Сдать — не сдали, но наместнику кто-то донес. И он устроил громкое разбирательство, так что история эта получила огласку вне монастырских стен.  
Чтобы хоть на кого-то перевалить ответственность, наместник Платон влепил выговор иеромонаху Иустину — тот был духовником уголовника: «Как не предусмотрел?» А кроме того — «Каким образом оказался в чужой келье?» — наложил на Дионисия епитимью: ухаживать за больными чернецами в лазарете — мыть пол, выносить горшки.  
Ну и хорошо. Там схимники лежат, немощные по плоти да полные духовных историй. Один все про апостолов рассуждал:  
— Апостолы за Христом ходили, а ведь какие были еще несмысленные, дурные. Все сомневались, роптали, хотели раны Христовы руками потрогать… Иуда вообще продал Господа за тридцать сребреников, Петр от Него трижды отрекся, и все покинули своего Учителя еще в Гефсиманском саду. Грешные люди, простецы, мытари, рыбари… И что? Все, кроме предателя, покаялись, всем Господь дал силы пострадать за Него, всех спас, всех приблизил к Себе в Царстве Небесном. Вот и на нас, наверное, смотрят миряне, говорят меж собой: что такое эти монахи? Едят, пьют, суетятся, ссорятся, — какой в них прок? Чем же они лучше нас? Почему это Господь их так любит, почему это Он их слушает, освящает их Духом Святым?  
— Да, вот именно, почему, за что? — неожиданно спрашивал Дионисий.  
— За одно лишь твердое произволение Ему служить. Он позвал — ты пошел, не раздумывая. За то, что хотя бы раз в жизни имел решимость бесповоротно отказаться от мира ради Него. А там дальше — всякое с монахом может произойти: крутит его, вертит, трясет, мнет, гнет, ломает… Но если случится пасть — так сразу восстань и иди опять за Христом. Опять падешь — снова восстань. А снова падешь — опять восстань. А без этой решимости мы, монахи, кто? Так только — хорошие ребята, холостяки…  
Подолгу сидел Дионисий при этом схимнике, воздыхал:  
— Самое большое чудо состоит в том, что как бы христиане самыми хитрейшими способами ни пытались уничтожить Церковь, она — живет!  
Потом монах Матфей его переманил. То все лежал, прильнув к радио, особенно его поразило пение скороговоркой, рэп. Он долго слушал, слушал, качая головой и ухмыляясь в бороду, наконец, пригласил и Дионисия, с уважением поясняя: «Дывись. Як пацаны балакають. Размовляють гарно». И вдруг решил, чтобы зря не терять время, обучить его китайскому языку — все равно хлопец без дела.  
Китайский же язык отец Матфей осваивал когда-то в условиях пограничной службы на советско–китайской границе. Ему приходилось тогда часто ездить к китайцам и принимать их у себя, потому что на границе тоже шла нормальная жизнь: обмен товаров, перебежчиков и даже рыбацких лодок, заплывших в неположенные места.  
Почему-то те два–три десятка слов, которыми располагал отец Матфей, настолько пришлись ему по сердцу, что он с любовью повторял их и в дни своей монашеской жизни.  
— Ну що таке — янь? — спрашивал он Дионисия.  
— Не знаю, — с улыбкой признавался Дионисий.  
— Це — тютюн.  
— Тютюн?  
— Тютюн!  
— Интересно, — качал головой Дионисий.  
— Повторь ще раз, — требовал отец Матфей. — Янь.  
— Янь, — послушно повторял Дионисий.  
— Гарно, — одобрил его Матфей. — Ну а що таке, напрыклад, цин–нянь?  
— Не знаю, — простодушно засмеялся Дионисий.  
— Хлопец.  
— Хлопец?  
— Хлопец. Парубок.  
— Хорошо.  
— Як?  
— Звучит, говорю, хорошо.  
— Добре, — кивнул Матфей.  
— Ну а як буде — добре?  
Дионисий пожал плечами.  
— Хао.  
— И это неплохо, — хохотнул Дионисий.  
И так они учили по–китайски и «ни–хао», что означало «здоровеньки булы», и «цун», то есть «цыбулю», и «ту–доу», то есть «бульбу», и даже «гу–нян» — «дивчину», но тут старый схимник не выдержал и запротестовал:  
— Это-то зачем ему знать, монаху, тем более по–китайски!  
А Матфей настаивал, что это очень даже может ему пригодиться, если ему придется эту китайскую «гу–нян» «врозумляты».  
Словом, было там, в лазарете, Дионисию и спокойно, и хорошо. Казалось, наместник забыл, что есть такой монах — Дионисий, что в монастыре есть свой иконописец. Бессрочная какая-то получалась епитимья. А когда она кончилась, оказалось, наместник уже поменялся и пасет на дальнем пастбище коз.  
Потому что первого сентября на открытии городской школы директор, учителя и ученики решили поставить нечто вроде спектакля. И вот собрался почти весь Троицк — дети, родители, члены городской администрации и просто все кому не лень. И директор стал приветствовать собравшихся, почему-то одевшись Зевсом, отцом олимпийских богов. А завуч изображала собой Афину–Палладу, мерзость языческую. А школьный бухгалтер была Геей, а учитель математики уверял, что он — Аполлон. А глава администрации был Прометей. И он зажег огонь, символизирующий олимпийский, и передал, как он сказал, «эстафету» первой ученице города. И дети, выстроившись линейкой, стали декламировать «монтаж» — какие-то стишки, где упоминался Храм Науки и фигурировали имена языческих богов. И на головах детей были надеты венки, как у мифологических героев. И все это шествие продефилировало в здание школы под бурные аплодисменты. И вот все это стало известно в монастыре.  
И на первой же после первого сентября воскресной литургии игумен Платон вышел на проповедь и заклеймил всех, кто хотя бы присутствовал на языческих игрищах, а всех участников такового, в том числе и тех, кто аплодировал, отлучил от Святой Церкви. Так и возгласил: «Да будет им анафема!», и привел в содрогание храм. Ибо в числе отлученных оказалось полгорода — школьные учителя, городская администрация и даже бабки, которые по пути с базара решили посмотреть да послушать, что там говорят в микрофон, не собираются ли там прибавить им пенсию.  
Ну и естественно, отлученные помчались жаловаться епископу Варнаве. Он немедленно вызвал к себе игумена Платона и приказал ему публично покаяться в превышении духовных полномочий и снять анафему с населения города, а заодно и сложить с себя власть наместника. И отец Платон снял анафему, но каяться не пожелал, потому что в глубине души чувствовал свою правоту. И весь мордовский клан поддерживал его в этом. И они ездили объясняться с архиереем. Очень сильный раздор был в монастыре. Владыка даже самолично ездил туда «для умирения страстей».  
Стал он думать, кого же сделать новым наместником. Только так, чтобы он был не клановый человек. И на глаза ему попался иеромонах Иустин. Вспомнил он, как какое-то время назад в монастырь приезжал Ельцин. Епископ сопровождал его по монастырю. И Борис Николаевич захотел посмотреть пещеры. Тогда Иустин, у которого было послушание водить экскурсии по пещерам, повел его туда. Они там разговорились, и, уезжая, Ельцин даже похлопал Иустина по плечу, произнеся что-то вроде:  
— Какое монашество у нас, а? Красивые люди, красивые дела, красивая страна…  
И вот владыка подумал: чем же плох иеромонах Иустин? И сделал его игуменом и назначил его наместником Свято–Троицкого монастыря. И сбылось пророчество старцев, что будет у них наместник — как Ангел Божий — и милостив, и светел лицом. Ибо новый игумен вернул в монастырь всех приходских иеромонахов. И тогда к великой радости вернулись и отец Амвросий, имевший особый дар утешения скорбящих, и отец Мелхиседек, травник, знавший секреты природных лекарств, у которого к тому же был великолепный бас, украшавший монастырский хор, и отец Феофил, умевший говорить такие проповеди, что даже экскурсанты, праздно забредшие в храм, забывали о том, что их уже ждет автобус, и с трепетом слушали до тех пор, пока отец Феофил не возглашал «аминь». И вернулись отец Агафангел, любимец детей, который был искусен в преподавании Слова Божьего в воскресной школе, и отец Авель, добрый пастырь, милостивый нищелюбец, и отец Севастиан, великий знаток богослужебного устава, истинный молитвенник и большой постник.  
Только отца Гавриила не удалось Иустину вернуть из Малой Уситвы назад.  
— А француз пусть там и остается, француза не трожь, он мне нужен там, кто ж без него будет в Уситве все восстанавливать? — на одном дыхании сказал Иустину владыка Варнава.  
Потому что он уже прекраснейшим образом был осведомлен и о натовских генералах, с коими, как он слышал, отец Гавриил был в кровном родстве, и о французской тетушке — знатной благотворительнице…  
Да что там — сам уже успел побывать в Уситве. Собственными глазами видел, как там между службами снуют по двору воодушевленные богомольцы, помогая восстанавливать храм, строить церковный дом, как две дюжие и по–монашески ладные молодицы — из паломниц — поют на клиросе… Подошли к нему под архиерейское благословение, а он им, как настоящий ловец человеков — наметанный глаз:  
— Ну что, невесты Христовы, когда будем постригаться?  
А они:  
— Как благословите, владыка святый.  
А он им, ударив в землю владычным посохом:  
— И будет здесь славная женская обитель.  
А Габриэль:  
— Буди благословенно.  
Вот и весь разговор.  
Посему, через какое-то время, когда прошел срок послушнического искуса, владыка этих благочестивых паломниц собственноручно постриг, нарек их Марией и Марфой, а иеромонаха Гавриила сделал игуменом. А Святейшему доложил, что присланный им в Свято–Троицкий монастырь иеромонах уже вовсю напитался духом Православия и, восходя от силы в силу, удостоен игуменского сана и теперь исправно несет послушание духовника Марфо–Мариинской женской обители в селе Уситва. И Святейший не стал возражать.  
А раз так, то и новый наместник Иустин, у которого единственным существенным аргументом в борьбе за Габриэля было благословение Святейшего, направившего француза именно в Свято–Троицкий монастырь, не стал больше спорить с владыкой Варнавой. Что ж спорить, если такова, видно, воля Божия. Хотя Иустин и чувствовал себя в своем монастыре как рачительный хозяин, ревнитель, собиратель духовных сил, радеющий о том, чтобы не расточить из них ни крупицы.  
Ведь и мордовскую братию не обидел новый наместник: и эконом был из нее, и келарь. Отца же Платона он поставил над всем сельским хозяйством монастыря — «поближе к природе, подальше от надрывающих ум идеологий». Но и архимандрита Нафанаила не забыл игумен Иустин. Пришел к нему на курятник и видит — держит бывший наместник, этот «без пяти, нет, без двух минут архиерей» в руках яйцо и смотрит на него с умилением:  
— Вот чудо-то Божие, а?  
А наместник Иустин ему говорит:  
— Хорошо потрудился ты здесь, отец Нафанаил, пора тебе встать над всем монастырским архивом. Будешь заведовать монастырской библиотекой и все документы хранить. Это все же более подобает сану архимандрита.  
Но отец Нафанаил сказал:  
— А нам и здесь подобает, нам и здесь хорошо. Чудо Божие у нас в руках.  
Так и остался он на курятнике, потому что, как поясняют монахи, смирился он «до зела». Единственное, на что сподвиг его новый наместник, так это чтобы он по воскресеньям преподавал в монастырской воскресной школе. Как-то раз я встретила его, когда он шел на занятия. Увидел меня, благословил, потом говорит:  
— А мы здесь детей учим Закону Божиему, учим их, как благочестиво жить, как скромно одеваться…  
И окинул меня взором. А на мне была замшевая курточка, и вообще вид у меня всегда не смиренный.  
И вот я в соответствии со своим видом и спрашиваю у него:  
— Ну, наверное, вы учите их не только скромно одеваться, но и не осуждать тех, кто одевается нескромно?  
Он удивился:  
— Не поняли…  
— Ну как же — скромно одеться ведь не фокус, — пояснила я. — А вот как не осудить того, кто щеголяет и борзится?  
— Это очень трудно, — согласился он. — Порой невозможно…  
И пошел себе на занятия. Аккуратный, подтянутый, скромно одетый. Достойно переносящий свое унижение. Зря я его подколола. Тут же и поплатилась за это: мы разговаривали с ним возле нового строящегося братского корпуса, и только–только архимандрит покинул это место, так прямо на меня со второго этажа упало ведерко с краской: слава Богу — не зашибло, но всю обрызгало белой густой липкой жижей. Вот как — а нечего учить духовенство духовности… Хорошая, видно, была краска, крепкая, ничем не оттиралась — строился новый корпус для братии на века.  
И вот в этот момент полного монастырского благополучия, мира и всеобщего духовного воодушевления Дионисий вдруг затосковал. А что, так очень даже часто бывает — отходят внешние скорби, и душа расслабляется, раскисает, а тут на нее внутренний набрасывается враг. И бывает это второе для человека горше первого, потому как от внешних бед ты еще как-то можешь убежать в себя, укрыться на небесах, а куда денешься, если у тебя внутри лютует страшнейший зверь о семи головах?  
Вот и у Дионисия душа стала томиться и унывать. Ничто ей не в радость. Лики на иконах выходят безжизненные, руки, воздетые в молитве, — мертвые. На устах горечь, на сердце камень. Затвердела обида, свернулась, застыв, печаль… И все — ранит. Старец Игнатий болен и никого не принимает, а Дионисию кажется, что это как бы специально направлено против него: Иустин, вхожий к старцу, уехал с владыкой Варнавой по епархии, а келейница у старца вредная, никого к нему не пускает, Дионисия недолюбливает, сама норовит советы монахам давать, старица этакая нашлась:  
— Это все, — говорит Дионисию, — у тебя от гордыни, вопросы-то твои. А ты смирись, и вопросов не будет. Что старца-то беспокоить! А если уныние у тебя — попробуй лечиться мочой. Не пробовал? Даже врачи советуют.  
Ну мало ли, что она, глупая баба, наболтает, а у Дионисия шип в сердце против самого старца Игнатия.  
А то подкараулила Дионисия эта келейница, вломилась к нему в мастерскую:  
— Напиши мне, — говорит, — икону старца Григория.  
Дионисий поначалу и не понял, что за Григорий такой. Так она пояснила:  
— Распутина мне напиши. На золоте. Отец Игнатий благословил.  
Не поверил Дионисий, что отец Игнатий ее послал. А проверить не может. Набрался духу, отрезал:  
— Может, тебе еще и Василия Ивановича написать?  
— Какого еще Василия Ивановича? Неужто Чапаева? — вскинулась она подозрительно. — Его что, тоже канонизируют?  
Оговорился от досады — имел в виду, конечно, Грозного — Ивана Васильевича. Но оговорка показалась ему знаменательной.  
Вспомнил он, как отец Ерм пожелал ему когда-то «нахлебаться монастырской дури». И вот из-за этой глупой келейницы началась у него брань на весь монастырь.  
К тому же и спонсоры Дионисиевы — обещали на Синай послать, иконы древние въяве ему показать, а тут у них проблемы какие-то, попримолкли они с Синаем, поскрывались, даже к телефону не подходят… Хоть бы сказали ему — не можем, денег нет и вообще ты нам надоел. А то — молчат, а он ждет и томится.  
И молитва не идет. Встанет Дионисий перед иконами и чувствует — пустота. Черная такая, бездонная… В душе все мрачно, беззвездно. Ничего не шелохнется навстречу Господу. Сушь. Пустыня.  
Решил пройтись по монастырю — вспомнить, с каким чувством он начинал здесь свой путь. Вышел ночью — постоял у монастырской звонницы.  
Именно здесь его когда-то пугали бесы: было у него послушание сторожа, и он должен был ночью ходить по монастырю… Тишина. Братия уже намолилась и крепко спит, а кто-то все еще подвизается — кое–где в мутных окнах келий мерцает свет, потом — посреди ночи вдруг вспыхивает огонь в окне наместника, погорит, погорит с полчаса и опять погаснет. И вот ходит юный чернец–сторож по ночному монастырю туда–сюда, туда–сюда. И вдруг слышит он оглушительный грохот, словно кто бьет железом о железо — крыши дрожат. Заунывный отзвук вдали. Землетрясение. Ужас. Кровь стынет в жилах, волосы становятся дыбом на голове. Хочется кричать от страха, забиться в закуток, закрыть глаза… Старец Игнатий успокаивал его:  
— Это бесы тебя пугают, а ты не бойся. Гонят тебя, а ты стой на месте. Читай «Живый в помощи Вышнего» — и они пропадут.  
Пошел Дионисий и на хоздвор: здесь он когда-то нес послушание на курятнике и в коровнике — убирал навоз. Это так отец Нафанаил его поначалу смирял: ишь, столичная штучка, профессорский сынок, белые ручки, тонкая кишка… Наведывался к нему:  
— Ну как? Не имеешь ли чего против нас?  
А Дионисий ему в ответ:  
— Спаси вас Господи, отец наместник! Что же я могу против вас иметь? Здесь благодать, свежий воздух, коровки, целебный навоз!  
Отправился Дионисий и на Афонскую горку. Забрался в беседку, сел на перила. Когда-то здесь, возле этой беседки, он изготавливал угольные таблетки для кадила. Угольная пыль оседала на нем, и он был черен, как мавр. Мать, когда она приехала в монастырь и ее провели к нему, не узнала его:  
— Не знаете ли, — спросила она у черномазенького послушника, — где здесь можно найти инока Александра? Это мой сын.  
Много чего радостного вспомнил теперь Дионисий, обходя монастырь, но оживить не смог — это все уже в нем затвердело, поросло быльем, словно умер в нем этот молоденький послушник, этот Сашенька, этот Александр.  
Стал жития святых читать. В первом же — святой Ирины — лошадь человеческим голосом разговаривает. И вот раньше Дионисия бы это ничуть не смутило: Господи, да ведь Тебе все возможно! Ты и через ослицу Валаамову, и через облако кочующее, и через чрево китово можешь изречь Свою Истину! А тут Дионисий что-то заколебался. Смущение на него нашло — как так — лошадь заговорила, сказки какие-то, что за образ такой? Совсем худо ему стало. Даже слег он. Лежал на своей лавке в келье, заложив руки за голову, и смотрел в потолок.  
Жизнь свою вспоминал, детство, художественную школу, папу, маму, бабушку… Вспомнил и учителя. Как он впервые увидел отца Ерма: сердце его сразу празднично так забилось, взыграло — узнало! Радость такая, блаженство, сплошная «аллилуйя». Как это называется? Называется это очень просто — любовь. Вот остался он около него. «Куда мне идти? — у тебя глаголы жизни вечной».  
Вспомнил постриг в полутемном храме, как полз он по ковру, и монахи покрывали его своими мантиями, и братия с возженными свечами пела: «Объятия Отча отверзти ми потщися…», пока не встретил его у Царских врат пресветлый игумен торжественным вопрошанием:  
— Что пришел еси, брате, припадая к святому жертвеннику и святой дружине сей?  
И он ответил:  
— Желая жития постнического, честный отче.  
— Желаеши сподобитися ангельского образа и вчинену быти лику монашествующих? — спрашивал игумен.  
— Ей, Богу содействующу, честный отче, — смиренно отвечал он. И произнес монашеские обеты.  
Игумен же, указав ему на Евангелие, сказал:  
— Се, Христос невидимо здесь предстоит, виждь, яко никтоже ти принуждает к сему образу, виждь, яко от своего произволения хощеши обручения великого ангельского образа.  
И трижды бросил наземь постригальные ножницы.  
Трижды постриженик поднимал их от святого Евангелия, трижды целовал руку наставника. И, приняв в третий раз постригальные ножницы из его рук, игумен Ерм произнес:  
— Се, от руки Христовы приемлеши я, виждь, Кому сочетаваешися и кого отрицаешися.  
И целовал монах Дионисий подрясник, надевая его… Блаженное это было время: все возможно верующему, каждая лошадь по–человечески говорит…  
Вспомнил их общую с учителем жизнь — и в Лавре, и на Афонской горке. Сокола вспомнил — пригрел отец Ерм у себя в келье раненого молодого сокола. У того была повреждена нога и подбито крыло. И был этот сокол, как ни странно, похож на Дионисия — смотрел как-то так пристально, пытливо птичьим глазком, а отец Ерм говорил:  
— Смотрит, точно как ты, Дионисий, — ты тоже так иногда долго глядишь, не мигая, — и настороженно, и с любопытством — непонятно, что именно ты высматриваешь…  
И мне так же казалось, я вторила отцу Ерму:  
— Дионисий, это твой птичий брат, если бы ты сам родился птицей, то выглядел бы, как этот сокол…  
А отец Ерм выкармливал его из рук, поил из клизмочки и обрабатывал раны. Было это очень для Дионисия умилительно — такой наглядный образ заботы отца Ерма о его, Дионисиевой, душе — тоже ведь выкармливает из рук, отпаивает, врачует раны. И в конце концов сокол выздоровел, окреп и улетел. Получилось, что и Дионисий так: напился, обкидал учителя снегом и вот — живет теперь в его мастерской, а игумен Ерм, может, страдает. Ему и сокола того жаль было отпускать, он даже говорил — может, он здесь приживется? Короче говоря, Дионисий вдруг понял, как он виноват перед отцом Ермом, как он по нему скучает, — белый свет ему не мил. Почувствовал себя «яко нощный вран на нырищи, яко птица, особящаяся на зде». И решил он отправиться в Преображенский монастырь. Но хотел лишь дождаться некоего благоприятного знака свыше — мол, вот теперь и иди. И знак этот вскоре и был ему послан.  
В монастырь приехала пожилая пара — очень респектабельного вида. Были они русские эмигранты, выросшие в Португалии и сохранившие православную веру. Принимали их в монастыре с большим почетом, поскольку накануне их приезда игумену Иустину позвонил московский архиерей и попросил встретить в областном центре и привезти в монастырь этих господ Татищевых. Ну и их водили с большим почетом по монастырским пещерам, устраивали на клиросе во время богослужений, кормили в наместничьих покоях. Привели и в иконописную мастерскую к Дионисию. Иустин попросил, чтобы тот подарил этим португальским русским какую-нибудь икону — получше: конечно, раз их послал московский архиерей, надо уважить гостей, о которых он так печется.  
Дионисий угостил их чаем с баранками, подарил икону. Они были очень довольны. Спросили, не знает ли он какого-нибудь старца, живущего неподалеку от монастыря, — они бы так хотели попасть именно к старцу. Монастырского старца Игнатия как раз увезли на лечение в подмосковный санаторий. И Дионисий стал им рассказывать про старца Кукшу — он жил в ста километрах от Троицка. А Иустин возьми да и скажи:  
— Вот и славно. Задание тебе, Дионисий, — отвези наших гостей к архимандриту Кукше.  
Выделил им машину. Они уже в нее и уселись. И тут у Дионисия возник в голове неожиданный план. Ведь везти почетных гостей к старцу — дело в каком-то смысле рискованное для них, поскольку отец Кукша был очень уж простодушный, что ли, юродствующий старец. А господа Татищевы очень уж какие-то бонтонные, подтянутые. Хрестоматийные такие аристократы–эмигранты. Поймут ли они… К этому старцу когда-то приезжала жена самого российского президента с охраной. Начальнику охраны она пообещала, что тоже спросит про него у старца. Тот усмехнулся и сказал — меня интересует лишь одно: стану ли я генералом. И вот они приезжают. Холодно было, мокро, ждут у калитки, никто к ним не выходит. Старец, значит, их немного смиряет. Жена президента, понятно, смиряется, призывает к этому и охрану, генерала будущего подбадривает. Наконец старец к ним вышел. Глянул на мадам и говорит:  
— Посикать хочешь?  
Она замялась, но все же сказала:  
— Хочу!  
— Ну так и пойди посикай — там, за углом.  
С этого началось их общение. Потом он провел всех в избу, рассадил, поговорил с президентшей. Она поплакала, посмеялась, устыдилась, возрадовалась, все для себя выяснила. Пришла пора выполнить обещание, данное охраннику.  
— Отец Кукша, со мной приехал мой защитник, полковник. Скажите, он интересуется, а будет он генералом?  
Старец посмотрел на охранника, даже потрепал его по плечу и сказал любовно:  
— Ну какой ты полковник! Ты же вор, сынок!  
Такое наивное простодушие старца было порой для неискушенных людей просто пугающим. И Дионисий решил, усаживаясь в машину, что к старцу Кукше им не так уж и обязательно ехать. А поедут-ка они лучше… к старцу Ерму. А что? Ведь к нему подчас так и ездили — некоторые чуть ли не за святого, чуть не за преподобного его почитали. Было ведь такое… Гениальный иконописец. Монастырь возродил. И Дионисий под прикрытием этих иностранных аристократов со старинным выговором и изысканными манерами проберется к учителю. Найдет подходящий момент, упадет ему в ножки, покается, изольет душу. Словом, план этот возник у него моментально, на ходу, и он его не продумывал, а так — просмотрел в мгновенье ока. И птицы вдруг запели: «Ерм, Ерм!» Душа возликовала, пришла в движение, наполнилась сладкими волнами. Кровь прилила к щекам. Голова закружилась от восторга. Все! Погнали по лесной дороге — прямо туда, к учителю!  
Игумен принял Татищевых благодушно, порасспросил, откуда они, какими судьбами, как жизнь в Португалии, как там наша Церковь. На Дионисия посмотрел лишь краем глаза и, как показалось тому, улыбнулся украдкой. Сидели долго, беседовали, так хорошо, так мирно. Угодил Дионисий гостями своему учителю. Сидел, улыбался, смотрел радостно, пристально, не мигая, как тот давний сокол. Попивал блаженную водицу из рук игумена Ерма. Объятия Отча отверзти ми потщися! В конце концов игумен спросил, надолго ли они пожаловали. До самого вечера. В полночь московский поезд. Он кивнул. Пригласил их на трапезу: пища у нас скромная, а приправы изысканные. Действительно, на столе стояли десятки приправ. Всякие там карри, кетчупы, майонезы, всякие там толченые кориандры, сушеные петрушки, чесноки, имбири, перцы. За столом прислуживали монахи Сильвестр и Климент, Дионисий узнал в них бывших Валерика и Славу. Догадался — Сильвестр и Климент — так звали двух почитаемых в Православии Римских пап… Те делали вид, что они не замечают Дионисия. Смотрели на него, словно он был тут вроде как мебель, утварь — привычный стол, стул, самовар. Наконец трапеза кончилась, наместник повел гостей смотреть отреставрированный храм, новый иконостас. По дороге Дионисий приблизился к нему и шепнул:  
— Отец Ерм, простите меня! — Горло у него перехватило, хотел даже сказать: «Падаю вам в ноги! Возьмите меня к себе!»  
Игумен прервал его властным жестом:  
— Поговорим об этом потом! — Но лицо его просветлело. И Дионисий отошел. А супруги Татищевы только вздыхали, разводили руками и непрестанно восхищались:  
— Какие божественные иконы! Это лучше самого архимандрита Зинона! Да что там — даже преподобного Андрея Рублева!  
— А не хотите ли попасть на наше монашеское богослужение? — спросил игумен Татищевых. Скромно спросил, да Дионисий видел, как приятны ему их слова…  
— Об этом можно только мечтать!  
Он отвел их в келью — отдыхать до службы.  
— Какой божественный человек! — только и восклицали они.  
Вскоре за ними пришел Климент:  
— Отец наместник приглашает вас на богослужение. Всех, кроме тебя. Ты подожди здесь, — сказал он Дионисию.  
И тот смирился. Не обиделся даже — что ж, он и тут посидеть может, а может и погулять по монастырю. А отец Ерм увидит его кротость и вновь приблизит к себе. Поэтому он основательно расположился в келье, взял с полки книгу преподобного Исаака Сирина и открыл наугад. Игумен Ерм любит, когда его ученики занимаются духовным просвещением.  
Там было написано: «В иных, охраняющих себя, и недостатки бывают хранителями правды». «Это точно про отца Ерма, — подумал он. — Даже горячность, такая порой огорчительная для тех, кто находится рядом, стережет его горящий светильник».  
Стал читать дальше: «Дарование без искушений — погибель для приемлющих оное». «Конечно, — согласился Дионисий. — Без искушений сразу гордыня замучает!»  
Опять углубился в чтение: «Если делаешь доброе пред Богом, и даст тебе дарование, умоли Его дать тебе познание, сколько подобает для тебя смириться, или приставить к тебе стража над дарованием, или взять у тебя оное, чтобы оно не стало причиною погибели. Ибо не для всех безвредно хранить богатство». «Нет, это слишком уж высоко, — подумал Дионисий, — даже отец Ерм вряд ли когда стал бы просить у Господа лишить его иконописного таланта, а уж тем паче приставить к нему какого-то там стража. Вот у меня есть этот страж — напишу икону и сам себе говорю: неживое все у тебя получается, Дионисий, изысканничаешь ты слишком, интеллигентничаешь. Словно пытаешься доказать кому-то, что святые — приличные люди. Такие же, как мы все, только лучше. А они — другие. Господь их избрал и освятил — и с ними лошади разговаривают. Львы их кормят. Вороны их питают. Солнце их слушается. Вода под ними не проваливается. Бесы им повинуются. А с тобой лошадь на хоздворе не заговорила, и ты уже зашатался в вере!»  
Так говорил себе Дионисий, сидя в келье у отца Ерма с книгой преподобного Исаака Сирина. Так готовил себя к решающей встрече с учителем. А потом все-таки вздохнул из глубин сердца: «Впрочем, Господи, пусть будет не как я хочу, а как Ты. Да будет воля Твоя!» Набрался терпения. Стал ждать: «Что бы ни было, я все снесу!»  
Татищевы же поспешили за монахом, он ввел их в маленький нижний притвор храма, еще толком не отремонтированный. Там был полумрак, горели лишь несколько свечей, алтарь был весьма условным — он располагался на несколько ступеней выше, и там, на возвышении — престол. Возле него стоял игумен в сопровождении двух людей в балахонах. Двери в храм меж тем закрылись, и началось какое-то не совсем понятное Татищевым богослужение: вечерня — не вечерня, утреня — не утреня… И лишь когда священники стали переносить сосуды с престола на жертвенник, Татищевы вдруг поняли, что это Божественная литургия. Но как это может быть — литургия вечером? После обеда? Что происходит? Они пригляделись к двум священникам в балахонах, и вдруг до них дошло, что они попали на католическую мессу! Но — месса — в православном монастыре? Месса, на которой присутствовал и их дорогой игумен Ерм! Они замерли, потрясенные и испуганные.  
Наконец Евхаристический канон завершился, и они видели, как причащаются все три священника. Вынесли чашу со Святыми Дарами, к ней приступили и монахи, после чего Сильвестр подошел к ним и вежливо предложил им тоже приобщиться. Они отказались.

Мадам Татищева громко плакала, пока Дионисий вез их на вокзал:  
— Они все причащаются здесь с католиками, — всхлипывала она. — Вы понимаете? С католиками!  
Муж ее утешал. Она спрашивала, может быть, они что-то не поняли, может быть, это вообще сон. Он со всем соглашался — да, не совсем поняли, да, это всего лишь сон…  
Боже мой, оказалось, что именно их-то Дионисию ни в коем случае нельзя было туда привозить, если он так уж хотел помириться с учителем. Оказалось, что приехали они в Россию со специальной миссией — их португальский приход дал им задание выяснить, как в нашей Церкви обстоят дела с экуменизмом вообще и с католиками в частности. Потому что именно эти два пункта очень португальцев волновали и настораживали. Но если все обстоит хорошо, то есть экуменизмом и не пахнет, а католики далеко, приход поручает им вести переговоры с Патриархом о присоединении их общины к Московской Патриархии. Потому-то московский архиерей и послал их в Троицкий монастырь, потому и умолял Иустина принять их получше… А Дионисий ухитрился повезти их именно туда, где православные монахи служат мессу!  
Они закатили ужасный скандал. Они спрашивали у Патриарха, что все это значит. Они писали в газеты. Они трубили по радио. Патриарх самолично разговаривал с епископом Варнавой. Тот обещал разобраться. Вызывал к себе Дионисия. Тот сказал, что ничего не знает, божился, что ничего такого не видел и от волнения даже назвал владыку именем евангельского разбойника, так и сказал: «Владыка Варрава». Тот опешил. Впрочем, ответил не без остроумия: «Ну это уж ты загнул, это уж слишком!»  
Потом он собрал епархиальный совет, призвал туда игумена Ерма и требовал его объяснений. Тот отказался отвечать. Он только сказал, что не понимает, почему его вкушение Святых Христовых Тайн наделало такой переполох. Этим он возмутил буквально всех. Говорили: «Вон тут у нас в епархии один француз служит, бывший католик. Так Патриарх его специальным чином присоединял к Православию, — что же это, по–вашему, просто так?» И опять стали вопрошать Дионисия, и он опять хотел было сказать, что ничего такого крамольного он не видел в монастыре. Что, наоборот, там все образцово. Хотел даже сказать о неизбывной красоте Православия — такое в этот момент почувствовал вдруг вдохновение. Но как только он поднялся с места, чтобы засвидетельствовать о своей любви к учителю, Ерм почему-то крикнул ему: «И ты здесь, Иуда?» И Дионисий не сказал ничего. Ком встал у него поперек горла — не продохнуть. Вся грудь заболела — все-таки душа там помещается, в горле, в груди, за тончайшей плеврой, чувствительной диафрагмой. Так стоял Дионисий, мрак набивался ему в зрачки.  
А игумена Ерма запретили в священническом служении до его покаяния, всех же его монахов отлучили от причастия. Владыка также предписал им оставить Преображенский монастырь, ибо он решил назначить туда «другого наместника».  
И Дионисий вновь пришел к учителю, чтобы объясниться с ним, но тот не пожелал его слушать.  
— У меня такое впечатление, — презрительно сказал ему отец Ерм, — что Православие — это такая конфессия, особенность которой заключается в том, что все ее члены испытывают друг к другу острое чувство ненависти.  
И вот Дионисий, как известный евангельский персонаж, выйдя вон, плакал горько, хотя он ни от кого не отрекался. Но отец Ерм твердо был уверен, что это именно Дионисий во всем виноват: ведь это он привез к нему в монастырь «своих людей». Специально подобрал, чтобы люди эти — стукачи и доносчики — выглядели бы так пристойно. Потому что он хитрый, коварный, этот Дионисий, всегда был такой. И смотрит всегда так, словно что-то выпытывает, — непонятно, что у него на уме…  
И остался опальный игумен с Сильвестром и Климентом — у разбитого корыта, на пепелище. Говорят, будто бы, покидая монастырь, он сказал:  
— Жизнь моя кончилась — началось житие!  
Они купили себе за бесценок избу неподалеку от бывшего своего монастыря и там зажили почти как прежде. То есть писали иконы, молились и вкушали простую пищу, но с множеством изысканных приправ. Но видеть иконописец Ерм больше никого не хотел. Я приехала к нему, но он отказался говорить со мной, так только — сошел с крыльца, сделал несколько нерешительных шагов к моей машине. Наверное, ему казалось, что я буду его упрашивать вернуться в Православие.  
Но я не собиралась его вразумлять. Мне ли учить моего наставника, моего благодетеля, моего духовного отца? Тем более, когда он одиноким своим тщедушным телом пытается соединить Церкви, я ли ему тут указ? Но и уйти так — ни с чем — я не могла: Дионисий просто повернулся и ушел и — что? Ходит, больной, по монастырю, смотрит своим птичьим непонятным взором, отыскал в чине монашеского пострига на Афоне такие слова, которые теперь и твердит: «Как монах ты останешься голодным и жаждущим, нагим и отверженным; многие будут ругать и издеваться над тобой. Однако, претерпев все эти лишения и трудности, радуйся, тебя ждет великая награда на небесах».  
А кроме того — ушел весь в Священное Писание, ищет символических словес. Встретил меня в монастыре, чуть кивнул:  
— Привет.  
— Как поживаешь, Дионисий?  
— Слава Богу, живу. А вообще, ты знаешь, паршиво. «Мене, текел, фарес», — что еще можно сказать?  
Разговаривая, мы добрели до самой его кельи, и он сказал:  
— Понимаешь, Навуходоносор, персидский царь, устроил у себя пир. Прямо как отец Ерм. И вот посреди этого роскошного пира появился неизвестно откуда — перст. И этот одинокий перст принялся писать по воздуху всем пирующим таинственные слова: «мене, текел, фарес». А никто не мог понять, что же это означает, к чему это все. Лишь пророк Даниил сумел объяснить. «Мене» — сказал он, — это значит, что Бог исчислил царство твое и положил конец ему. «Текел» — значит, что ты взвешен на весах и найден очень легким. А «фарес» — это то, что царство твое отдано другим. Так объяснил пророк Даниил. А вот ты считаешь, о чем это на самом деле, о чем?  
— О чем? — я повторила за ним. Испугалась — вдруг не ответит?..  
Он поморщился, отвернулся, потом взглянул на меня так, словно испытывал, смогу ли понять, стоит ли вообще продолжать…  
— О том, что охладела любовь, — наконец с трудом произнес он. — Понимаешь, она охладела, она совсем уже холодна, ее почти что и нет… Нет, я не говорю — там, — он показал пальцем на небеса, — у Христа. Но на земле-то, здесь, между всеми нами — ее почти уже нет.  
Он помолчал, ковыряя землю носком ботинка, потом сказал:  
— А человек жаждет ее. Он хочет быть любимым, всему вопреки! Потому что именно таким он и задуман, именно таким видит его Бог. И когда он любим, он — это именно он!  
Дионисий даже вдруг задохнулся. Посмотрел на меня невидящим взором, будто насквозь:  
— Почему, думаешь, развелись эти братки, эти преступные пацаны, эти ворюги–чиновники, эти лже–монахи? Да потому что их никто не любил, и они чувствовали, что они — падаль, нежить, ничего не весят, они — ничто, их «я» — это «не я»! Они, может, хотели доказать, что они — есть! Что я — это я! Я иду — расступись! Признай меня! Прибавь же мне весу на весах бытия!  
— А сами что же? Почему сами они не могут никого полюбить? Нет, когда я люблю, то я — это именно я!  
Я глядела на него сочувственно, и он замолчал. Потом открыл дверь своей кельи и кинул мне напоследок уже совсем другим голосом, — можно было даже подумать, что он шутил:  
— Так что «мене, текел, фарес» — это значит, что все — каюк! Оторванные персты сами пишут то, что им вздумается, прямо по воздуху, а каждая оторванная голова, как ей самой взбредет, так это и поймет!  
…Ах, Дионисий, Дионисий! Брат мой, во плоти ангел, небесный человек, блаженный изограф, — все перепутал! Не Навуходоносор, а Валтасар, не перст, а пясть, и не по воздуху, а по стене чертога…

…Нет, так просто, как Дионисий, я уйти от учителя не могла. Но не могла и остаться. Я сказала только, сама еще не понимая, для чего:  
— Отец Ерм, вы видите, у меня новая машина. Нарядная, скоростная. Сядьте на минуту в нее.  
— Зачем? — удивился он.  
Я и сама не знала, зачем. Зачем-то… Может быть, потому что выплыли вдруг эти «мене, текел, фарес», этот пишущий по воздуху грозный перст… А может быть — просто так:  
— Ну сядьте, сядьте.  
Я распахнула переднюю дверь. Удивительно, но он сел. Даже сам эту дверь захлопнул.  
— Хорошая машина, — примирительно сказал он.  
И тут я, не совсем догадываясь, что делать дальше, включила музыку. Заиграл Моцарт, запели скрипки, все нежнее, все пронзительней, все тревожнее… Я заставила их звучать громче, еще громче, еще, машинально завела мотор, нажала на газ…  
— Куда мы едем? Мне никуда не нужно, — заволновался отец Ерм.  
Но я лишь прибавила скорость. Мы помчались вдоль лесов и лугов, взметая пыль и прах. И закат был какой-то красный, как бы к холоду, к смуте, к беде. Мы летели в пространство, и музыка ломилась к нам, звуча все громче, щемя все больнее, желая уязвить до смерти, оглушить, заставить понимать только ее.  
— Она похитила игумена Ерма! — изумленно кричали провожающие нас деревья, летящие облака.  
— Она хочет переиграть Промысел! Она заигрывает с возмездием! Она искушает судьбу! — било в окна красное отчаянное закатывающееся солнце.  
— Да что это с вами? — встревоженно спросил отец Ерм. — Остановитесь!  
Но музыка была так стремительна, так огромна, она столько пророчила бедному сердцу, подстрекая, раня и будоража. И я выжала до отказа педаль.  
— Да стойте же вы! — приказал игумен. — Я не желаю этого слушать! Верните меня назад!  
Но Моцарт призывал все новые скрипки, и за них вступались виолончели, альты, флейты, пререкались душные контрабасы — они так хотели бы все повернуть вспять, именно что возвратить назад! Но вся тема была построена на «невозможно!», замешана на «не бывает!», закручена на «не может быть!». А они, эти скрипки, все пытались свое «а все-таки?». А они все подкрадывались со своим «а если?». Вламывались со своим «а вдруг?».  
— Да что здесь творится? — отец Ерм наконец разозлился. — Остановитесь! Учтите — никакого раскола не было! Католики с нами — одно!  
Мы взлетели на огромный холм. По нему карабкались кусты, вдалеке дымился остывающий лес. Казалось, все это происходит в последний раз, далее будет лишь стремительный бесконечный спуск, черное, подрагивающее на буграх шоссе. Солнце укрылось за красноватым облаком, все опечатав странным, каким-то искусственным, угнетающим светом. «Доколе?» — затрепетали с надрывом струны. «До самыя смерти», — заныли в изнеможении басы.  
— Вы сошли с ума! Стойте, иначе я выпрыгну на ходу! — закричал отец Ерм.  
Он открыл дверь, готовясь к прыжку, примериваясь к летящей земле. Я резко затормозила, но он прыгнул, даже не дожидаясь, когда я остановлюсь. Прыгнул, упал на обе руки, потом вскочил и побежал по траве. Но Моцарт все еще пытался его вернуть, все гнался за ним, все нежнее, все осторожнее ему лепетал. Вроде как «ничего, ничего, все обойдется, она еще так поездит, поколобродит, побезумствует, а потом — станет смирной, спрашивать будет, заглядывая в глаза: «Чего изволите, отец Ерм? Что вам угодно? Что такое эдакое для вас совершить?»» Но поздно: игумен бежал не оглядываясь, пригибаясь, как будто ждал, что вот–вот по нему откроют огонь.  
Потом вдруг — совсем вдалеке — остановился, резко повернулся ко мне лицом, стал что-то горячо кричать. Я выскочила из машины и рванулась было к нему, но он оттуда, издалека, сделал знак рукой, вроде как: стоп, стоп! И стал сам отступать спиной, продолжая горячиться и все еще что-то крича. Я замерла, подавшись вперед, вслушиваясь в его голос, в слова, но ветер дул не туда, и я поймала только жалкий обрывок…  
— …а–али Филиппа! — донеслось до меня.  
И он опять развернулся лицом к бесконечному лесу, и опять стремительно побежал, и больше уже не оглядывался…  
Я села за руль.  
Было уже не столь даже важно, что было там: «зачем вы поддерживали Филиппа» или «не удержали», или «что ж вы предпочитали», или «сами себе избрали», или «вы, наконец, узнали», или «если бы вы украли», или же — «оправдали», или же — «осуждали», или же — «обожали», или же — «унижали», а может, что-то другое, еще…  
Я сидела и слушала, пока Моцарт не вышел весь, кассета щелкнула, и я тогда просто слушала все, что вокруг — лес, луг.  
Ерм был уже далеко–далеко — скрылся из глаз, исчез. Может, был уже где-то в лесу, может, уже за рекой. Я сидела в смеркающейся тишине. Невыносимо долго. Почти целую жизнь. Потом стало совсем темно.

Дионисий в это время растапливал самовар — он собирался вечерять с Матфеем.  
— Сегодни кытайци прыизжалы в монастыр, — жаловался Матфей. — Я почав размовляты с ными на кытаиськый мови. А воны — нэ розумиють. Цвенькають щось свое — ничого нэ розибраты. Несправжнии, ненастоящии якись кытайци. Нэ ти, — заключил он.

А отец Ерм долго шел через лес. Выпала роса. Наверное, он весь промок. Пришел к избе уже заполночь, услышал — Сильвестр и Климент решают свою судьбу, пьют чай, прихлебывая из блюдца:  
— Надо бы Папе обо всем сообщить, страдаем ведь за него!  
— Ясно дело, пора бы ему о Патриархе все написать. Чтобы Папа его запретил…  
И отец Ерм резко повернулся и пошел, сам не зная куда. Но только прочь, прочь. Они вроде даже заметили его тень, силуэт. Вроде даже и выбежали за ним. А его и нет. След простыл. Больше никто с достоверностью о нем ничего не знал. Он просто исчез — и все.  
Поговаривали, что видели его в Риме, и он там стал весьма важным лицом. Может быть, даже и кардиналом. А то — сообщали, что вроде бы его похитили какие-то новые русские, из бандитов, заперли у себя в зарешеченных хоромах, посадили на хлеб и воду, заставили писать для них иконы и теперь их выставляют на аукционах в Америке и в Европе за бешеные деньги, чуть ли не каждая — миллион. Но мне что-то не очень верится во все это. Мне кажется, даже если б он и попал в Рим и оказался там со всем католичеством с глазу на глаз и со всеми его католиками — разом, то вряд ли бы он в весьма скором, а то и в наискорейшем времени не разочаровался в них. Да хотя бы почуяв этот душок, сходный с тем, который некогда смутил его в аляповатых ангелах, столь сурово приговоренных им к ссылке… А ведь так мило, так благочестиво смотрелись бы эти ангелы на чьем-нибудь буфете или серванте, никого ни к чему не обязывая и не призывая, а просто немного приукрашивая жизнь…  
А что касается похищения отца Ерма, то тут, зная характер моего духовного отца, я уверена, что, как бы его ни морили, ничего бы от него не добились, никаких икон за миллион долларов.  
Но кто-то рассказывал, что-де появился, кажется, в тамбовских, а может, и в новгородских лесах некий новый старец, как две капли воды похожий на игумена Ерма. Но только у него покалечена кисть правой руки. Намекали, что сам он ее и покалечил, ибо она, должно быть, соблазняла его. То есть вроде бы отец Ерм поставил наконец-то «стража над дарованием»… И вот этот новый старец — очень строгой жизни, окопался в глухих лесах. Молится за весь мир, постится. Вериги носит. Подвиг молчания принял. Питается акридами и диким медом. И всякие чудесные вещи происходят возле него. Бог весть.  
И вот в это я готова поверить. И мне даже иногда хочется прыгнуть в отходящий поезд и понестись на всех порах и в Тамбов, и в Новгород, и куда угодно, обшарить там все леса в округе, перевернуть холмы и вдруг, и вдруг — юркнуть за куст, притаиться, осторожно выглядывая:  
— Он или не он?  
Порой мне кажется, я чувствую его молитвы за меня. Хотя, может, это — моменты духовной прелести. Ведь слышал же Дионисий, когда вез Татищевых в монастырь, как птицы ему пророчили: «Ерм! Ерм!»  
А вот у Дионисия теперь новая присказка. Чуть что непредвиденное случается или чуть что не так, он повторяет: эти китайцы не те. Иустин даже у него однажды спросил:  
— Что ты такое несешь, какие китайцы?  
— Ненастоящие. По–китайски не понимают. Неужели не ясно? Говорю же тебе — не те.

*1999-2002*